



Владимир Данихнов
Артём Белоглазов

ЖИВИ!

Фантастическая проза

Владимир Данихнов

Живи!

«Снежный Ком»

Данихнов В. Б.

Живи! / В. Б. Данихнов — «Снежный Ком»,

«Следи за собой, будь осторожен...» – эти слова из песни Виктора Цоя как нельзя точно характеризуют действия и поступки абсолютно всех персонажей романа. Живем ли мы в лучшем из миров? Или, как обычно, заблуждаемся? Кто знает?.. Но, думается, нам с вами повезло гораздо больше, чем людям, жизнь которых полностью подчинена навязанной кем-то свыше игре. Правила ее просты, а малейшее нарушение карается смертью. Но однажды придет тот, кто скажет страждущим: «Живите!». Обычный человек, он попытается облегчить бремя игры и дать людям надежду. Будет ли его вина в том, что всех спасти не удастся?

© Данихнов В. Б.

© Снежный Ком

Содержание

Авторское предуведомление	5
Часть первая	6
Первая драматическая глава	6
Первое любовное прояснение	22
Первая спокойная глава	29
Первое прояснение-легенда	47
Первая глава с сомнениями и вопросами	55
Первое антицелительское прояснение	70
Первая рисованная глава	77
Первое литературное прояснение	90
Первая страшная глава	109
Междучастие	123
Кое-что о талантах,	123
Часть вторая	132
Первая противоречивая глава	132
Прояснение первого дня игры	141
Первая безумная глава	151
Первое антиохотничье прояснение	174
Первая героическая глава	184
Первое счастливое прояснение	199
Эпилог	204

Владимир Данихнов Артём Белоглазов Живи!

*сказка в ...надцати главах, перемежаемых ...
надцатью прояснениями, с междучастием,
эпилогом и авторским предуведомлением*

Авторы благодарят: Наташу Осояну, Лену Варганову, Сашу Усманову, Ирину Черкашину, Яну Данихнову и Колю Желудова, оказавших неоценимую помощь при написании книги. Без этих людей книга, конечно, увидела бы свет, но то была б совсем другая книга, да и свет отнюдь не тот.

*Что наша жизнь? Игра!
Либретто М. Чайковского. Пиковая дама*

Авторское предуведомление

Авторы равно уважают последователей всех мировых религий, которые будут упомянуты в книге; атеистов и агностиков они тоже уважают не меньше. Следует заметить, что перед вами, несмотря на форму, всё-таки сказка, и авторы оставляют за собой право достаточно вольно обращаться с историческими, географическими и прочими фактами, вертеть ими, как будет удобно. В этом смысле книга представляет небольшой интерес для тех, кто решит использовать ее как справочное пособие, а не литературно-художественное произведение.

Авторы также оставляют за собой право не объяснять всего, что будет происходить на страницах этой, без сомнения, удивительной книги.

Первый автор, ко всему прочему, ненавидит длинные и пространные прологи, вступления и предуведомления, и поэтому, отвесив поклон почтенной публике, загадочным образом испаряется.

Второй автор, наоборот, любит всё длинное и пространное – вступления, отступления и предуведомления, записки на полях, монологи, прологи и эпилоги. Ну просто хлебом не корми – дай порассуждать. Поэтому первый автор всегда одергивает слишком увлекшегося второго. И знай же, о почтенный читатель, всё то длинное и пространное, что встретится тебе, – дело рук второго автора при попустительстве первого. Засим второй автор также откланивается и не менее загадочным образом испаряется вслед за первым.

Часть первая Точки над «і»

Первая драматическая глава Живи, Марийка!

Обычно мы с младшей сестрой играли в догонялки прямо в детской.

Вот что было в нашей комнате: две кровати, кресло, мягкое и очень удобное, тумбочка, старый дедушкин секретер – там хранились школьные учебники, и паркетный пол. Жуткий, загадочный пол, на который во время игры нельзя наступать, иначе проиграешь. По правилам следует носиться по комнате, прыгая с кровати на кресло, с кресла на тумбочку, с тумбочки – опять на кровать. По правилам нужно догнать сестру. Прикоснуться к ней хотя бы пальцем, а потом убежать, ведь она попытается дотронуться в ответ. Нельзя поскользнуться и падать на пол. Ни за что.

Марийка была ловкая, быстрая, а я мог отвлечься, замешкаться – даже перед прыжком. И падал. Выдуманная бездна поглощала меня. Марийка залиvisto смеялась, подпрыгивая на пружинном матрасе, а я виновато улыбался. Мне казалось, это стыдно – проигрывать младшей сестре.

Ведь я должен быть для нее примером во всём.

– Эй, – обращаются ко мне. – Ты спишь?

Открываю глаза. Нет, не сплю – вспоминаю, убаюканный мерным гудением двигателя. В салоне желтого «Икаруса» воняет пометом – на задних сиденьях старик и старуха в брезентовых плащах везут клетки с курами. Клетки тарахтят, когда автобус подпрыгивает на ухабах, и куры протестующе кудахчут. В запыленное окно проникает тусклый дневной свет: небо обложено тучами, снаружи проносятся телеграфные столбы и непримечательная, пустующая деревенька. Брошенные дома густо заросли диким виноградом.

– Ты спишь?

– Нет.

Мой собеседник – сальноволосый и чумазый солдатик в защитной форме, которая ему великовата. Глаза чуть навывкате, на лице царапины, покрытые коркой засохшей крови, воротник грязный; из кармашка гимнастерки торчит завядшая астра. Солдатик замечает, что я смотрю на цветок, и улыбается щербатым ртом:

– Красивая, правда?

– Мы уже проехали Крошев? – спрашиваю.

После вольного города Крошева ехать еще часа два: моя остановка – семидесятый километр. Не знаю, что это за километр такой, что там находится, и где точка отсчета – в смысле, где расположен километр нулевой; мне, в общем-то, всё равно. Главное, там ждет сестра.

– Это астра.

– Я заметил.

Водитель беспокойно вертится на месте, часто отвлекаясь от дороги и поглядывая в салон. У передних дверей сидит грузная женщина в осеннем пальто и косынке, она хватается за горло и, кажется, задыхается. Даже отсюда слышно, как она сипит. В горле у нее булькает.

– Это необычная астра, – продолжает солдат. – Мне подарила ее одна девчонка, с которой я познакомился в Беличах. Мы с моим другом Зденеком останавливались там на ночлег, и какое-то время я жил у нее.

– В Беличах давно нет живых.

– Ее звали Кларетта. – На лицо солдата набегают тень. – Правда, странное имя? Но она красивая, честное слово, а какие у нее глаза!

– Какие?

– Узкие. Как у китайки. И волосы цвета меда. И розовое платье...

– Китайки.

– Что?

– Правильно говорить «китайки».

– А...

– Дайте пройти, – прошу солдата.

Женщина впереди задыхается. Старики умолкают, даже куры ведут себя тише, будто осознавая трагичность момента. Все, все слышат, как на переднем сиденье хрипит женщина, но никто не собирается встать, чтобы помочь ей.

– Так вы в Крошев едете? Кстати, забыл представиться: меня зовут Славко.

– Славко, черт тебя дери, дай пройти! – кричу я.

Он испуганно вжимается в кресло, прячет ноги под сиденьем. Я протискиваюсь мимо солдата и, хватаясь за спинки кресел, иду по салону. Подхожу к женщине. Ее руки дрожат, но она всё-таки сумела поднять их и теперь с отчаянием царапает шею. Смотрит на меня и силится выговорить непослушными полными губами:

– Т-га... т-га...

– Таблетки?

– Д-да... на п-полу...

Она пыталась выпить лекарство, когда начался приступ, но пузырек выпал из рук, и таблетки рассыпались по полу. Я поднимаю маленькую коричневатую таблетку, вытираю о рукав и протягиваю женщине. Водитель, щуплый мужичонка в кепке, не отпуская руля, сует мне бутылку с минералкой. Молодец, понятливый. Я подношу горлышко бутылки к губам женщины. Она жадно пьет.

– Живи... – шепчу одними губами. – Живи, черт возьми! Жизнь и хороша, и ужасна, но это всё есть, пока ты жива...

Провожу по лицу женщины ладонью, едва касаясь кожи, сухой и морщинистой. Она закрывает глаза, лицо ее расслабляется, руки опускаются на колени. Со стороны может показаться, что я прикрыл веки покойнице, но это не так. Женщина дышит, в груди медленно, размеренно бьется сердце – она просто уснула. Ее лицо розовеет. Не знаю, что за лекарство она принимала, с таким же успехом я мог предложить вместо таблеток сухой собачий корм. Это неважно. Потому что лекарство я дал лишь для маскировки.

– Я знаю... кто ты, – с запинкой произносит водитель за спиной. Голос тонкий, совсем не мужской. – Ты...

– Не надо, – резко обрываю я, и он умолкает. Возвращаюсь на свое место рядом с солдатом. Славко вертит в руках астру, спрашивает жалобно:

– Если в Беличах все мертвы, кто же тогда подарил мне цветок?

Представьте, что наша планета – гигантская площадка для детской игры. Вы можете безопасно для жизни прыгать с кочки на кочку. С дивана на кресло. С ржавого остова «Мерседеса» на врытую в землю бетонную тумбу. Можете ехать на автомобиле или лететь на самолете, или, прицепив к ногам ходули, наподобие циркового клоуна, шествовать по невидимой бездне. Главное, не коснуться пола. Главное, не коснуться земли в той ее точке, где нет выступа, кочки, холмика. Никто не знает заранее, где можно ходить, а где – нет, приходится экспериментировать. Снег, устлавший землю, не спасет. Если вы коснулись запретного места, бездна поглотит вас мгновенно. Это правило. Падение в бездну имеет много разных обликов: кто-то, ненаро-

ком оступившись, просто умирает, кто-то застывает глыбой льда. Кто-то обращается стайкой бабочек. Мертвых бабочек.

Я видел, во что игра превратила одну деревеньку у подножия Савкиных холмов, что у Миргорода. Миллионы неподвижных махаонов устлали разбитые дороги; бабочки, словно снег, скрипели под колесами автомобиля. Я старался смотреть только вперед, но ветер, будто нарочно подхватывал черно-желтые ломкие крылышки и швырял в лобовое стекло.

* * *

– ... Всегда удивлялся, почему не помогают высокие подошвы?

Я снова открываю глаза, смотрю в окно. Миновав эстакаду, тянущуюся над железнодорожными путями, мы въезжаем в предместье большого города – это и есть Крошев. В сам город не заезжаем, огибаем его стороной. Едем мимо одинаковых, как близнецы, двух- и трехэтажных коттеджей, выкрашенных в ослепительно белый цвет, окольцованных балюстрадами. На одном подоконнике горят свечи: это довольно новая традиция, я видел такое во многих городах – свечу зажигают, когда в семье кто-то умирает естественным путем, не *от игры*. Между окнами и балконами стоящих друг против друга домов протянуты напоминающие строительные леса мостки. Они сбиты из крепких и толстых досок. Мостки пересекаются, разветвляются; некоторые из них очень прочные, огороженные перилами, по таким катят нагруженные тележки. По дощатым настилам и крышам ходят люди, поглядывают на наш автобус, смеются, показывают пальцами. В окнах любопытные детские мордашки.

– Ты спишь?

– Нет. Задумался.

– Почему не помогают высокие подошвы, а ходули, которые не намного выше, помогают? Ведь подошвы – это те же... ну... возвышения!

– Таковы правила игры, – отвечаю.

– Слушай, – Славко наклоняется ко мне, шепчет: – А могут у человека быть светлые волосы и узкие глаза? Что-то не вяжется, – добавляет виновато. – Вдруг ты решишь, что я всё сочинил. Ну, про цветок.

– Отчего бы и нет, – успокаиваю его.

Славко удовлетворенно кивает.

В окно летит гнилой помидор. Он растекается прямо передо мной, раскидывает по стеклу щупальца, как осьминог, пытающийся схватить добычу. Красная жижа, смывая пыль, ползет вниз. Мальчишка, кинувший в автобус помидором, ухмыляется и строит рожи, но тут же верещит от боли – мать хватает его за ухо и уводит по переходному мостику к балкону, где на грядках растут овощи. На другом мостике трое подростков, вооружившись смахивающим на удочку устройством, вылавливают разбросанные по тротуару книги, старые и потрепанные. У бордюра сидит длинноухая дворняга и с удивлением смотрит на грязные томики. Она подходит и, плюхнувшись на самый толстый фолиант, по всей видимости, на энциклопедию, принимается вычесывать блох. Подростки раздосадованно кричат, шугают собаку, пытаясь отогнать ее прицепленным к «удочке» крюком. Пес не двигается с места. Ему хорошо: собак правила игры не касаются, они могут ходить, где пожелают.

«Икарус» поворачивает; мальчишки и сидящая на книге дворняга исчезают за поворотом, за потрескавшимися от солнца и ветра стенами. Интересно, что будет с людьми, когда дома начнут рушиться?

«Научатся строить жилье, пребывая в подвешенном состоянии», – подсказывает язвительное подсознание.

– Спасибо вам, добрый человек!

Возле наших с солдатом кресел стоит женщина, которой я дал таблетку. Она выглядит гораздо лучше.

– Не за что, – отвечаю с безразличием.

Она хочет что-то сказать, но не решается. Наверное, обескуражена моим тоном. Мне всё равно, я сделал свое дело. Живи. Оставь меня в покое.

– Я... – начинает женщина.

– Вы что, не видите? – визгливо перебивает солдатик. – Мы заняты! Разговариваем!

– Да как ты смеешь кричать на меня, сопляк?!

– Я – солдат! Я защищал родину, пока вы спали в своей кровати!

– Знаем мы, как вы защищали!

Пассажиры, привстав с кресел, оглядываются на нас, Славко с женщиной в пальто бранятся в голос. Черт... мне ни к чему лишнее внимание. И благодарности тоже ни к чему. Живи и дай жить другим – вот мой принцип. Он не приносит дивидендов и не помогает жить, и я не знаю, почему его придерживаюсь. Я, сказать честно, ненавижу этот принцип, но он – та соломинка, которая позволяет не утонуть в этом мире. Я чертовски боюсь, что, достигнув семидесятого километра, найдя Марийку, прикоснувшись к ней, тут же убегу, скроюсь, как тогда, в детстве, когда мы играли в догонялки в нашей комнате. Потому что путь будет пройден, потому что ей больше не нужна будет моя помощь.

– Остановите автобус!

Женщина и солдатик замолкают, таращатся на меня во все глаза. Их лица покраснелись от перепалки, они смущены. Солдатик роняет астру, спохватывается и поднимает ее. Белые лепестки срываются и падают. Бог знает, когда я проезжал на потрепанном «Крайслере-универсале» местечко под названием Коземир; шоссе под колесами усеивали лепестки роз, тюльпанов и ромашек. Девочка в джинсовом комбинезоне сидела на большом камне, что возвышался у шоссе подобно зубу мифического дракона, и глядела на дорогу. Она была бледная и очень хрупкая, почти прозрачная – с лицом, красивым, как у чахоточного больного. В свете щербатой, обкусанной с края луны она показалась мне призраком. Притормозив возле камня, я долго смотрел на нее и ждал, что она скажет. Девочка молчала. Я высунул в окно и предложил ей сесть в автомобиль. Она помотала головой и, тихо заплакав, прошептала: «Моя мама превратилась в тысячу цветочных лепестков».

Я протянул ей руку и сказал: «Живи!»

Я сказал: «Твоя мама умрет вместе с тобой. Она жива, пока ты помнишь ее. Дай ей пожить еще немного. Пожалуйста... хорошо?» Слова прозвучали патетично, но девочка послушалась и залезла в машину. В дороге я кормил ее черствым ржаным хлебом и поил водой из пропахшей бензином канистры, больше ничего у меня не было. Поначалу ее, голодавшую несколько дней, после каждого проглоченного кусочка выворачивало наизнанку. Она плевалась желчью на серую ленту асфальта, на лепестки. Я думал, она умрет, но девочка выжила. Я привез ее в Лайф-сити, город на юге, выстроенный в лесу и похожий на города эльфов из сказок. Деревья-великаны, мостки между ними, хижины, спрятанные в кронах могучих дубов, – вот каким был Лайф-сити.

У меня закончились деньги и бензин. Я пробыл в городе около месяца и, зарабатывая на дальнейшее путешествие, за бесценнок излечивал людей поддельными лекарствами. Бензин стоил необычайно дорого: автомобилями почти никто не пользовался – в жизнь людей прочно входил гужевой транспорт. В муниципалитете мне намекнули, что я мог бы остаться в городе, открыть практику, но я уехал. Может быть, со временем, сказал я, и действительно – иной раз навещался туда, а потом снова отправлялся на поиски сестры. В Лайф-сити высоко ценили мое докторское искусство.

Перед тем как мой «Крайслер» с доверху заполненными баками покинул город, Ира – так звали девочку – зашла ко мне попрощаться. Мы стояли на веранде гостиницы, где я сни-

мал номер, и молчали. От веранды к стоянке внизу, забитой простецкими телегами, а также дилижансами и фургонами, спускались веревочные лестницы. Снующие меж ними люди напоминали суетящихся муравьев. Мне оставалось только слезть к распахнутым дверцам машины, салон которой был набит дорожными припасами и всяким барахлом. Но я медлил. Теплый сентябрьский ветер ласкал наши лица, в воздухе с гудением носились толстые жуки, глянце-вито блестя надкрыльями.

– У этого города дурацкое название, – сказала Ира. – Чужое.

Она уже нашла себе работу, как-то обустроилась, а мне не сиделось на месте. Ира оказалась не такой уж маленькой, ей было пятнадцать лет. Я помолчал, подыскивая нужные слова, но так ничего и не придумал.

– Прощай, – сказал я.

Мы выезжаем из города.

– Остановите автобус! – требую я.

– Дальше, – говорит шофер. Он прав: на крышу может спрыгнуть кто-нибудь из жителей, поехать с ветерком и без билета. А билет стоит немалую сумму.

Вслед «Икарусу» летят тухлые помидоры: дети мечтают сесть в автобус и уехать куда глаза глядят, но им нельзя, потому что так говорят взрослые. Хотя они и сами не прочь присоединиться к нам. Малышня же боится, что останется тут навсегда, поэтому и закидывает проезжающие машины гнильем – в отместку. Ладно еще, детям хватает ума не целиться в лобовое стекло.

Шоссе изгибается; водитель прижимает ногой педаль газа, и обочина с пыльными лопухами и одуванчиками стремительно уносится назад, к низким окраинным развалахам.

– Остановите!

Куры кудахчут, в воздухе кружат белые перья, испачканные помётом. Женщина и солдатик молчат, лица у них виноватые; старики что-то украдкой обсуждают, пассажиры вновь оборачиваются: им любопытно. Водитель не снижает скорость, автобус мчит и мчит по шоссе, уводящему за серый, исполосованный далекими молниями горизонт. И только когда дома исчезают из виду, «Икарус» притормаживает.

Я понимаю, что делаю глупость, – до семидесятого километра осталось всего ничего... это если на машине, пешком куда как прилично. Но мне противно слушать, как ссорятся эти люди, как они укорачивают себе жизнь. Я бы мог сказать им: «Живите», но вряд ли они поймут меня. А если поймут... мне же хуже. Подхватив нехитрые пожитки – толстую тетрадку, куда записываю свои наблюдения, рюкзак, наполненный консервами и бутылками с водой, – я иду к выходу.

– Здесь? – спрашивает шофер.

– Да.

«Икарус» останавливается. Водитель опытный, подгадал: автобус стоит на обочине, как раз перед дорожкой из высоких обтесанных камней, расположенных друг от друга на расстоянии примерно двадцати-тридцати сантиметров. Каменная дорога выглядит новой. Я не знаю, куда она приведет, быть может, вовсе не туда, куда мне надо.

Узкие стебли зеленой травы, пушистые метелки, фиолетовые, голубые и желтые соцветия колышутся в чистом летнем воздухе. Солнце опускается к горизонту, синие краски сгущаются; далеко, очень далеко гремит гром. Думаю, эту ночь мне придется провести на камне, свернувшись калачиком.

– Может, останешься? – предлагает водитель. – Я буду молчать.

Я улыбаюсь: шофер умный человек, побольше бы таких, глядишь и... Делаю шаг. Мироздание дрожит под ногами, колеблется, подыскивая точку опоры, и я прыгаю на следующий камень. Травинка щекочет ногу, забравшись под штанину. Каждый шаг может стать послед-

ним, это почти страшно, но я не боюсь. Живи! – говорю себе. Живи, и ты дойдешь до семидесятого километра, найдешь Марийку.

Сзади фырчит мотор, с глухим стуком захлопываются двери.

– Эй, постой!

Я оборачиваюсь: за мной бежит успевший выскочить следом чумазый солдатик.

– Вспомнил, понимаешь, я вспомнил! Кларетта подарила мне цветок, когда я уходил, убежал из Беличей! Потому что там... там... И она... – Голос у Славко пресекается, солдату больно говорить, больно вспоминать. Глаза его увлажняются, по щеке скатывается слезинка. – Зденеку сразу не понравился этот город... эта «звонящая напряженная тишина», во как он выразился!

Что, в Беличах? – хочу спросить я, но слова застывают на губах. Паренек спотыкается, отчаянно взмахивает руками и валится прямо в траву. Лицо его блее свежей известки – страх ли это смерти? Может, то, что произошло в Беличах, гораздо страшнее? Ведь там давно нет живых, и мертвых там тоже нет, там... Я и сам не помню, что там, в этих Беличах. Подсознание милосердно скрывает годичной давности события, но я чувствую – в Беличи лучше не соваться. Солдат падает, мгновения тянутся ключьями сахарной ваты, в кино такая съемка называется рапид. Наверное, он хотел поступить красиво, может, собирался как-то помочь, сообщить важную информацию. В детстве я обожаю смотреть голливудские кинофильмы. Их герои с легкостью преодолевали немыслимые препятствия, а я иногда задумывался вот над чем: представьте, герой разгоняется и прыгает сквозь пламя. Но вдруг ему под ногу подвернется камень и он, споткнувшись, полетит в огонь? Другой герой выскакивает в окно, не глядя, с высоты десятого этажа, внизу оказывается бассейн, и человек остается жив. А если бассейна не будет? Миром управляет случай, мир нелеп. Кино еще более нелепо, кино – это почти сказка; если приглядеться внимательнее, становится понятно, что любая мелочь, любая ситуация идут герою на пользу, такая мелкая цепь счастливых совпадений. Они невозможны здесь, у нас. Они наиграны. Потому что в реальной жизни случайности обычно не на нашей стороне. Помнится, в детстве мы с ребятами любили прыгать по гаражам в старом районе города. Зазор между крышами невелик, в него сложно попасть. Но один парнишка, которого считали самым ловким, умудрился поскользнуться и угодил обеими ногами точно в зазор, ободрал себе кожу и крепко застрял. Его еле вытащили.

Я стою и молча смотрю. Автобус отъезжает, к окнам липнут знакомые лица стариков-фермеров, грузной женщины в косынке и лица остальных пассажиров. Старикам любопытно, женщина вскрикивает от ужаса – рот ее приоткрыт, глаза широко распахнуты; водитель, поправляя кепку, успевает перекреститься. Собственно, ничего особенного не случилось – обычное зрелище для нашего мира. Но всё равно страшно.

Над тем местом, куда упал молодой солдатик, словно после взрыва разлетаются мертвые пчелы. Я произношу одними губами бесполезное теперь: «Живи...» Возвращаюсь к валуну, с которого сорвался парень. На самой вершине камня лежит завядшая махровая астра, подарок, что он хранил. «Наверняка дезертир, – со злостью говорю себе, чтоб хоть как-то успокоиться. – Заслужил...»

Мне становится стыдно за такие мысли, я подбираю цветок, сую в карман рубашки и вдруг понимаю, что забыл имя солдата. Мне кажется очень важным вспомнить его, но не получается.

Почти не глядя под ноги, назло самому себе, лишь бы отвлечься, бегу, перепрыгивая с камня на камень. Вперед, только вперед, без остановок, пока не свалюсь от усталости! Мне жутко и весело. Нет! Жутко весело! Я могу оступиться в любой момент, но верю в свою счастливую звезду. Я дойду, черт возьми!

– Это всего лишь игра, – сказал в тот день человек-тень, человек без лица, просто не-человек, забывший своей передачей все радиочастоты и телеканалы мира. Трансляция велась одновременно на шестидесяти языках. – Не ищите в ней смысла, только правила. Это не ваша игра – моя. Весь мир для вас – ловушка, любое возвышение – спасение. Вспомните детство, как вы носились друг за другом по комнате, условившись не касаться пола. Так вот – теперь это ваша жизнь.

Какой-то умник из западного полушария, потягивающий пиво из холодной запотевшей банки, сидя у телевизора, спросил:

– А как же океаны, моря и всё такое?

– Водная поверхность не под запретом, – произнесла тень. – Удивите меня, постройте подводные и надводные города-платформы. Знаете, существует теория, что люди произошли не от обезьян, а от существ, ведущих полуводный образ жизни. Может быть, пора вернуться к истокам?

Какой-то умник из восточного полушария, развалившийся на стареньком диванчике, горько усмехнулся:

– А как вы, друзья-товарищи, определите, где людям можно ходить, а где нельзя?

Тень сказала:

– Не мне надо будет определять, куда можно опустить ногу, а куда – нельзя. Это ваша задача.

Какой-то умник, цедивший кофе из красной кружки где-то в Арктике, а может, в Антарктиде, пробурчал, глядя в усеянный помехами экран:

– Чепуха...

– Это не чепуха, – возразила тень. – Это начнется. Сейчас.

Игра началась в тот же миг.

Погибли миллионы. Рассыпались в прах тысячи. Превратились в мертвых зверей сотни. Мир изменился мгновенно. А у детей появились новые игры – например смертельные классики.

О, это очень веселая игра! Девочки раскладывают на гладкой земле большие камни или кирпичи. Игрок, сняв ходули, должен перепрыгивать с кирпича на кирпич. Нужно побывать на каждом из них, а потом вернуться. Я видел, как одна девочка споткнулась и превратилась в миллион снежинок. Ее подружки смеялись, ловили снежинки. А снежинки таяли... Для детей это обычное зрелище. Главное, это случилось не с тобой – вот и всё. Страшно наблюдать, как гибнут люди, но еще страшнее видеть, как меняются моральные ценности, а они меняются – всегда, непрерывно, даже если ничего с миром не случается. И вот тебе двадцать пять, тридцать, тридцать с лишним, и в неполные сорок ты осознаешь, отчетливо и бесповоротно, что устарел; ты не понимаешь того, что пишут нынешние писатели, современная музыка кажется тебе вороньим карканьем, а то, как безразлично люди смотрят на тела погибших по телевизору, повергает тебя в шок...

А вот другая игра – «Светофор», в нее чаще играют мальчики: на асфальте раскидывают монетки, мелкие игрушки, вкладыши. Игрок одевается в балахон или подходящее тряпье, берет в руки мешок. «Я гаишный Дед Мороз, давайте мне ваши подарки!» – кричит он. По правилам у игрока есть два широких и плоских камня, на одном он стоит, а второй должен кинуть или подвинуть ближе к игрушкам, которые надо сложить в мешок. Игрок перешагивает на второй камень и, наклонившись, собирает подарки. Берет камень, на котором стоял перед этим, и перекладывает его дальше. Если всё в порядке, действие повторяется до тех пор, пока не собраны все игрушки. Побеждает самый быстрый.

Игра «Светофор» весьма опасна, в нее играют только отчаянные смельчаки. Однажды я увидел, как мальчишка отодвинул камень слишком далеко и остался стоять посреди двора, размазывая слезы по чумазой мордашке, боясь сделать шаг. Его друзья разбежались. Я взял на

чердаке старую лестницу и, закрепив ее, спустил мальчугану из окна. Край лестницы уперся точно перед камнем, мальчонке оставалось только вскарабкаться наверх. Но его трясло, он никак не решался сделать шаг. Пришлось лезть за ним, брать на руки; лестница, готовая в любой момент развалиться, скрипела под ногами. Мальчишка судорожно хватался за мою шею. «Живи, – сказал я ему, – потому что жить – это здорово... Что бурчишь? Не здорово? О, сейчас я тебе докажу, что это не так. Ты знаешь, что такое жизнь, малыш? Жизнь – это ночные посиделки у камина в холодные вечера, это любимая книжка, которую ты читаешь с фонариком под одеялом, чтоб не заметила мама, жизнь – это твоя сестра, с которой ты можешь поделиться чем угодно, потому что она – твой настоящий друг...»

Я принес мальчишку на балкон; на мостиках, протянутых над двором и соединяющих все балконы в кольцо, уже зубоскалили его товарищи. Оказавшись в безопасности, постреленок тут же убежал.

Я провожу ночь на плоском округлом камне со сколотой верхушкой, он напоминает консервную банку. Лежу, засунув под голову рюкзак; затвердевший кусок сала, спрятанный в рюкзаке, больно упирается в затылок. Впрочем, я уже привык. Поворачиваюсь на бок и смотрю на убаюкивающие своим шелестом травинки. В траве копошится насекомая живность, им не страшна игра. Всё-таки удивительно, что она не действует на птиц, животных и насекомых. И еще одно: говорят, игра пришла в разные уголки Земли в разное время.

Какой-то умник, сопоставив эти факты, заявил, что причина феномена – в вере. Люди поверили человеку-тени, и мир изменился, стал таким, каким чужак описал его.

Умник изучал духовную литературу, советовался с представителями разных конфессий. Ему верили, он собрал вокруг себя многих, основал собственную школу. Его звали мессией. Настал час, когда он сказал: я готов. Утром, при большом скоплении народа он вышел на балкон второго этажа ратуши; вниз, к площади, простирившейся под окном, вела раздвижная алюминиевая лестница. Умник поднял руки и патетично воскликнул: «Веруйте в меня!» Люди, высунувшиеся из окон соседних домов, кричали: «Веруем! Веруем!» А потом затянули заунывную песнь, и слова этой песни слились в сплошной гул; собаки вторили людям, лая в переулках. Умник схватился за перекладину и стал спускаться. На нем был нарядный костюм, свежая рубашка и идеально вычищенные туфли. В свете восходящего солнца казалось, что вокруг лысой головы сияет божественный ореол.

Мужчина ступил на землю и исчез без следа.

Всё утро я шагаю. Примерно в полдень дорога огибает неширокий ручей и бежит вдоль воды, мимо зарослей ивняка, в ажурной тени которого я спасаюсь от зноя. Редкие облачка растворяются в пронзительно синем небе. Отрезав ломоть хлеба, я доедаю остатки консервов и догрызаю сало; похудевший рюкзак уже не так оттягивает плечи. Трачу два часа на сон и иду дальше. Во второй половине дня на солнце набегают тучи, вдалеке гремит гром; шагать становится веселее. Часа через полтора я останавливаюсь у развилки. На восток ведет дорога из широких камней, стертых множеством ботинок – там, на востоке, расположен городок. Я вижу окраинные дома, бензоколонку, ратушу, несколько гаражей, большое здание – наверное, амбар; над крышами поднимаются хилые дымки. Пригревшимся на батарее котом урчит двигатель, брешут собаки. Приглядевшись, замечаю в парке среди деревьев стадо коз, а может, и овец, они щиплют травку или валяются в теньке. Наверное, овцы – для коров больно мелковаты. За стадом, сидя на толстой ветке, наблюдает пастушонок в плетеной из соломы шляпе – та ярко блестит на солнце. Такие шляпы называются... м-м... канотье? Забавное зрелище. Я достаю из рюкзака тетрадь, сточенный карандаш и, чтобы не забыть, делаю пометку. Пора раздобыть ручку, обвести последние записи: карандаш быстро стирается. А память... она часто подводит меня.

Прячу тетрадь в рюкзак и, подумав, сворачиваю на узкую дорогу, ведущую на север.

Дорога приводит в долину между холмами, где стоит большой двухэтажный дом красного кирпича. Через холмы к нему протянуты электрические провода, на крыше – спутниковая антенна, из чердачного окна выглядывает длинный телескоп. На лужайке перед домом, окруженным высоким кирпичным забором, пасутся меланхоличные коровы, изредка лениво бьют хвостом по бокам, отгоняя кружащих слепней. В сараях за забором блеет, хрюкает и повизгивает разновсякая скотина. На специальной площадке, приподнятой над землей, играют трое детей; верховодит у них чернявый рослый мальчуган лет одиннадцати. Возле калитки стоит молодой краснолицый мужчина в соломенной шляпе (всё же не канотье: у того узкие поля) и смотрит на меня. К ремню парня прикреплены довольно странные устройства; он напоминает сумасшедшего изобретателя из приключенческой книжки... э-э... Верна, да, кажется, писателя-француза звали именно так.

По камням я прыгаю к нему. Парень ныряет за калитку и возвращается с запасными ходулями.

– Гостевые, – улыбается он.

Это ставшие уже классическими ходули заводской сборки – не обычные шесты с набитыми приступками под ноги, в тех мигмах свалишься, а устойчивые и широкие, напоминающие треножники. Производство наладили сразу после возникновения игры и постоянно улучшали конструкцию. В общем, надежное и добротное средство передвижения в нашем зыбком мире. Я проворно цепляю ходули на ноги – для ступней имеются специальные крепления – и становлюсь на землю, для устойчивости взмахнув руками. Парень протягивает раскрытую ладонь, от нее пахнет машинным маслом.

– Я – Алекс. – Румянец на щеках вспыхивает еще ярче. Про таких говорят – кровь с молоком. Я думаю: он не только «изобретатель», он похож на ковбоя, который живет на лоне природы, вкушает простую, здоровую пищу и лишь по выходным позволяет себе немного подебоширить в местном салуне. Крепкий, широкоплечий, с веселым прищуром карих глаз. Рубаха-парень.

– Влад, – представляюсь я.

– Откуда будешь?

– Оттуда.

– Ясно...

Мой собеседник жует травинку, меланхолично, как корова во дворе. Выплюнув, усмехается и произносит с напускным пафосом:

– Добро пожаловать в последний оплот землян, борющихся против игры!

Здесь множество комнат, часть из них завалена аппаратурой, компьютерами, книгами, стопками технических и научных журналов; на потолке, прибитые гвоздями, протянуты разноцветные провода. Со мной приветливо здороваются девушки и женщины, приглашают отужинать – с кухни веет чем-то вкусным, горячим. Я вежливо отказываюсь. «Да ладно, не стесняйся», – усмехается Алекс. В доме стоит вязкий, неподвластный гуляющему туда-сюда сквозняку запах пота, и сквозняк в отместку колышет развешанное на веревках белье: простыни, наволочки, семейные трусы и носки. Да-а, народу тут достаточно. Я улыбаюсь, мне заранее нравятся хозяева.

Мы приходим в «лабораторию», где над аппаратурой, подмигивающей цветными огоньками, трудится, что-то паяя, крепкий полнотелый мужчина с прической, похожей на гриву дикобраза. На ногах у него ходули. Услышав нас, он оборачивается и, стянув перчатки, вытирает ладони о ветошь. От него пахнет спиртом и канифолью, рукопожатие по-настоящему «мужское» – сильное и крепкое. Мы до боли сжимаем руки друг друга: давим и давим, никто

не уступает – ни я, ни он. Мое лицо становится таким же красным, как у Алекса, и толстяк довольно хмыкает.

– Это Жоржи, – говорит Алекс, прекращая наш «поединок». – Он такой, да. Жоржи, скажи «привет»!

– Прив... – бурчит Жоржи и возвращается к своим приборам.

– Он не очень разговорчивый, – кивает «изобретатель». – Кстати, меня зовут Алекс, я – биолог. А наверху сидит Кори, программист. Как ты там, Кори?! – орет он в потолок.

– Что?! – доносится с чердака, и Алекс улыбается.

– Плохая слышимость, – поясняет он.

С потолка нам на головы сыплется штукатурка.

– А, черт!.. – Мы с Алексом отскакиваем в сторону. Жоржи, усмехаясь, отодвигается к окну, переступает ходулями. Тугой живот выпирает над брючным ремнем, с ремня на шнурках свисают кроссовки. Размер у них преогромный.

– Жоржи верит, что кроссовки ему еще пригодятся, что он еще побегает в них по полю, – смеется Алекс. – Ведь во что-то надо верить, правда? Кстати, меня зовут Алекс!

– Вы уже представлялись и не один раз, – разминая всё еще бледную руку, я отдираю друг от друга слипшиеся пальцы. – Я знаю, как вас зовут.

– Правда? Тогда давай на «ты», Влад. Не возражаешь?

– Никаких проблем, Алекс.

– Что?! – кричат сверху.

– Это я не тебе, Кори!

– Что?!

Штукатурка сыплется и сыплется. Алекс зовет меня в соседнюю комнату. Здесь стоят две кровати, стол, табуретки, в углу забитый книгами шкаф, к стене прислонены пузатые мешки. В тщательно вымытое окно светит закатное солнце, шелковые занавески развеивает сквозняк. Мы садимся на кровать. Алекс вытаскивает из мешка сухофрукты: абрикосы и сливы. Я киваю, принимая угощение.

– А почему Жоржи не снимает ходули?

– Тренировка. Он немного неуклюж, а к ходулям надо привыкнуть, сам знаешь. Нам часто приходится выбираться наружу – вот он и тренируется, пока работает.

– Энергию откуда берете?

– Мэр Вышек – города, что на востоке, – одалживает. Раз в неделю ходим к нему, оборудование чиним, то-сё. Никто не в убытке.

– Вы правда собираетесь закончить игру?

Алекс кивает:

– Ага. Такая у нас мечта. Понимаешь, у нас есть идея, точнее, у всех нас есть идеи. Я, например, думаю, что игра – это проделки заскучавшего инопланетянина. Вот представь: в корабле что-то сломалось, чужак вышел на околоземную орбиту и долгие годы крутится вокруг планеты, наблюдая за нами. Ему жутко скучно. И вдруг – вуаля! – в голову приходит отличная мысль: он решает сделать так, чтоб жизнь на Земле превратилась в сплошную игру.

– Он изменил жизнь на всей планете, да еще столь необычным образом, но не может улететь? Странно.

Алекс пожимает плечами:

– Мало ли что. Может, его планета погибла, и он – единственный представитель своей расы. Вот и рыщет по Галактике, развлекается как может.

– Как-то оно... – произношу с сомнением.

– У Кори другая теория, – Алекс беззаботно болтает ногами, – он думает, что это проделки Бога.

– Бога?

– Ага, Бога. Ему стало скучно, и он создал игру.

– Бог?

– Что?! – кричит сверху Кори. На голову Жоржи, который работает в соседней комнате, сыплется штукатурка. Алекс морщится.

– Почему нет? Ты знаешь, как выглядит Бог? Нет? А кто знает? Никто не знает. А вот Кори думает, что Бог выглядит как человек-тень, что выступал по телевизору.

– Глупо.

– Почему?

– Не знаю. Лучше уж пусть будет инопланетянин.

– Хм...

– А что думает Жоржи?

Алекс кидает быстрый взгляд в глубь «лаборатории», Жоржи слышал вопрос – он ухмыляется.

– Жоржи не знает, кто это сделал. Но он считает, что чужак хотел помочь нам.

– Помочь?

– Что?! – кричит Кори.

– Да, помочь. Жоржи говорит, что мир нам наскучил, люди стали бедны на эмоции, а прогресс застопорился. Тот, кто создал игру, заставил людей сплотиться. Жоржи верит, что если человечество постигнет тайный смысл игры, если мы откроем, каким способом человек-тень начал ее, тогда у людей появится право на жизнь. Понимаешь?

– Нет.

– Что?! – кричит Кори.

– Ты вообще следил за ходом моей мысли?

– Ну почему не следил? Очень даже следил. Вот только мысль твоя, уж прости, неоригинальна.

Алекс ухмыляется:

– Каков наглец, а?! Нагрязнул в гости, кто вообще таков – неизвестно, да еще хозяев критикует!

Я улыбаюсь:

– Прости.

– Да ладно. Лучше послушай, что у нас есть. Слушай, слушай – новых людей редко когда увидишь, в городе одни зануды, а поболтать иногда страсть как хочется. У нас довольно мощный телескоп, мы следим за небом – если моя теория верна, то есть шанс обнаружить корабль чужака. Мы берем пробы почвы, анализируем их, пытаемся понять, как работает зараза, которая убивает людей, каким образом превращает нас в бабочек и прочую дрянь. Еще хотим встретиться и поговорить по душам с кем-нибудь из целителей. Ты знаешь, кто такие целители? Когда-то обычные люди, они появились вместе с игрой... если точно – немного погодя, и что-то должны знать о ней, эти чертовы слуги чужака! Мы выводим правду любым способом, если встретим их.

Я вздрагиваю и откладываю надкушенную курагу, невольно пробормотав:

– Я знаю, кто такие целители...

– Что?! – кричит невеста как услышавший меня с чердака Кори.

– Что?! – меняясь в лице, переспрашивает Алекс.

– То есть нет, – быстро сдаю на попятный, – не знаю. Просто видел... видел одного такого типа...

В самом начале игры какой-то умник предложил простое решение: надо забетонировать участок земли, отгородиться от неведомой угрозы и спокойно ходить по бетону. Опыт проводили в городке во Франции – залили бетоном площадку, выпустили туда преступников-смерт-

ников. И те остались живы. Люди ликовали: это была маленькая, но победа над чужаком. Площадку принялись расширять, но уже на вторые сутки зараза проникла и сюда; рабочие, которые там находились, погибли. Среди них был жених моей сестры. Бывший жених. Узнав о его гибели, Марийка, недолго думая, выбросилась из окна третьего этажа. Она упала на козырек обувного магазина и переломала руки и ноги.

Я примчался в больницу: Марийка лежала упакованная в гипс, на щеках блестели слезы. Я сидел рядом и гладил ей волосы.

– Живи... – Я плакал, как и она. Внутри ворочался жаркий ком: вскипал и опадал пеной, бурлил клокочущими пузырями. Я чувствовал, как кто-то чужой и далекий, вовсе не я, трогает сестру моими руками. А сам будто превратился в висящую на нитях марионетку, но даже не задумался, что понадобилось неведомому кукольнику: мы действовали заодно.

– Живи... умоляю тебя, живи...

Я уснул рядом с ее постелью. На следующий день Марийка была жива и здорова, а меня палками и камнями гнали из города. Я шел по центральной улице, придерживаясь за стены домов, хватался кровотокающими ладонями за уцелевшие витрины; под ходулями хрустело битое стекло. Мое тело превратилось в один сплошной синяк.

Марийка была среди тех, кто вел толпу... они преследовали меня, как дикого зверя.

– Целитель! – кричали люди. – Прислужник чужака!

Выбравшись из города, я заночевал на вершине песчаной насыпи. Здесь когда-то полным ходом шла стройка, потом ее забросили: остались груды песка, щебня, разбросанные тут и там куски арматуры. И открытый всем ветрам железобетонный каркас длинного, в виде буквы «U» здания с обвалившимися перекрытиями. Даже ржавый остов башенного крана, в сумерках напоминающий Эйфелеву башню. Я вертелся, стараясь улечься так, чтоб меньше болели ушибы. Боль уходила быстро – выплескивалась наружу рваными толчками и затихала. Было очень досадно сознавать, что я не такой как все; сердце ныло оттого, что больше не увижу сестру.

Я просыпаюсь на рассвете. Вздрагиваю, кутаясь в одеяло: опять привиделся дурной сон – хлопанье крыльев, запыленный вороний грай и голос: «Полюбуйся на дело рук своих, Влад. Что ты натворил? Что же ты наделал, Влад Рост?..»

Мой собственный голос.

От сна веет паленым мясом и влажным, зябким туманом...

Воздух за окном серый, черные пенки деревьев торчат на вершине далекого холма, звезды растворяются в утреннем свете. Рядом храпит завернувшийся в простыню Алекс. Бесшумно поднимаюсь, шарю рукой в темноте и хватаю за лямку рюкзак. Зачерпываю горсть сухофруктов из наполненного до краев мешка и кидаю в боковой карман рюкзака – будет чем позавтракать в дороге. Фляжку я успел наполнить еще вчера.

В «лаборатории» спит на раскладном кресле Жоржи. Во втором кресле, в тени стола, присвистывает на вдохе носом третий парень, которого я так и не увидел в лицо, потому что он работал допоздна. Его зовут Кори.

Пора уходить.

Я не виноват, что я – не совсем человек. Но и они не виноваты, что они – люди. Автобус наверняка проезжал мимо Вышек, и водитель мог рассказать местным, что в их сторону направился целитель. Я не верю, что он смолчал, он обещал, да, но подозрительность успела впиться в кровь и образ моих мыслей. Даже родная сестра предала меня. Местные могут прийти сюда, чтобы изловить пришлого целителя. Хозяева дома, эти приветливые парни, узнают правду и убьют меня, будут пытаться до смерти, стремясь выведать тайну игры. Тайну, которой я не знаю.

Дверь тихо скрипит, когда я крадучись выскальзываю из комнаты. Алекс ерзает, переворачиваясь на другой бок, и начинает храпеть еще громче, Кори бормочет под нос, причмокивая губами: «Что?..»

Я ухожу. Выйдя на крыльцо, цепляю ходули, но, добравшись до тропы и встав на камень, снимаю – оставляю-ка их: я не вор, дойду как-нибудь. Трава клонится к земле – на кончиках блестят капли росы; провожу ладонью, собирая холодные росинки, чтоб умыться: воду во фляжке пока лучше побережь. На траве остаются темные полосы. Я прыгаю с камня на камень, и рюкзак мягко колотит по спине. Он почти пуст, внутри от стенки к стенке болтается дорожный дневник, в котором я делаю пометки и записываю то необычное, что встретилось. Да, я тоже пытаюсь понять, что такое игра, тоже хочу остановить ее. Снова стать обычным человеком. Это всё глупые мечты: в детстве я, например, мечтал вытащить из-под колес мчащегося автомобиля свою подружку; вытащить так, чтоб она осталась жива и здорова, и я бы тоже остался жив, но что-нибудь покалечил. Допустим, сломал ногу. Остановить игру – еще одна глупая мечта. Люди стареют и всё равно мечтают о чем-то несбыточном.

Перед тем как обогнуть холм, оглядываюсь на дом. До него уже недалеко, но мне чудится лицо Жоржи за перекрещенным рамами окном. Жоржи кивает мне. Толстые люди обычно более добродушны; по крайней мере Жоржи таков. Думаю, если б Алекс увидел, как я ухожу, то заподозрил бы неладное. Киваю в ответ, прежде чем идти дальше, уже не оборачиваясь.

Далеко за полдень выложенная из камней тропинка приводит меня к шоссе и сворачивает; извиваясь, бежит прочь от дороги. Справа возвышается холм с крутым, рыхло-слоистым, будто надкушенный великаном торт, склоном. С него, как при оползне, съезжают, перекатываясь, мелкие камешки и комья перегноя. Я шагаю и шурю на солнце: опять жарко, а гром как назло гремит где-то вдалеке, теперь – на юге. Воду из фляжки экономлю – неизвестно, что ждет впереди.

Очень скоро натыкаюсь на столбик с жестяным прямоугольником сверху, выкрашенным в синий цвет, на нем белым выведено: «67». Шестьдесят седьмой километр. До семидесятого, где ждет Марийка, осталось немного. Я, изрядно повеселевший, прыгаю по камням и насвистываю.

Марийка тоже искала меня. Наверное, наконец-то одумавшись, пожалела о том дне, когда среди прочих гнала из города. Искала везде, расспрашивала людей. Один из них узнал меня по ее описанию; да, это было забавно: я-то хотел узнать как раз про нее, но – вот ведь человеческая память! – он довольно смутно помнил женщину, которая когда-то разыскивала брата. Он так и отрубил, мол, знать не знаю. И чего это ты вообще интересуешься? А потом сказал, погодика, парень, и странно посмотрел на меня. Так я получил первую зацепку о моей сестренке. Человек этот вспомнил даже, как меня зовут; мой словесный портрет, составленный Марийкой, необъяснимым образом врезался в его память.

Другой мужчина дал наводку на Миргород, крупный город в западной области, и я отправился туда. В Миргороде ждала еще одна случайная встреча: парень, назвавшийся «почтальоном из прошлого», вручил мне письмо, написанное ее почерком. Я попробовал разыскать его потом – бесполезно, парень исчез, его будто засосала трясина людского забвения. Бармен в кафе клялся, выпучив глаза, что я сидел за столиком один-одинешенек, и никакого почтальона с толстой синей сумкой, конечно же, не было. Конечно, не было, успокоил я бармена. Просто я напился, и мне всё привиделось. Бармен, до этого нервно мявший подол грязно-серого фартука, просветлел лицом, улыбнулся и налил мне стаканчик вишневой настойки за счет заведения.

Мне очень хотелось прочесть письмо на месте, но всё же вернулся в халупу, которую снимал, и только там разорвал конверт. Из письма следовало, что Марийка, устав от поисков,

обосновалась где-то возле семидесятого километра шоссе, ведущего на Кручину. За тридцать земель отсюда, в переносном, конечно, смысле. В Миргороде я провел несколько месяцев, всеми правдами и неправдами добывая деньги. Купил «Рено Меган» – он стоил, в общем-то, не очень дорого – и приобрел сколько смог бензина, который обошелся в фантастическую сумму. Но зря – машину вскоре угнали, и я долго передвигался пешком; лишь в Трапенах посчастливилось достать билет на автобус.

Марийка ждет на семидесятом километре. Я столько времени надеялся увидеть ее и, наконец, увижу.

Роскошный особняк, красивый и мрачный, оседлал вершину холма подобно замку злой волшебницы. Видно, что за домом ухаживали, но совсем недавно забросили. Тропинка, свернув у столбика с прямоугольником «70», приводит меня к запертым воротам, украшенным причудливыми узорами. Останавливаюсь. В кроне вяза у подножия холма стрекочет сорока.

Кажется, я видел этот дом в своих снах.

Иногда мне снятся невозможные, но вместе с тем обманчиво-настоящие сны, в них наши дни мешаются с далеким прошлым, а былое перетекает в грядущее. В них воздух тревожит шелест огромных крыльев, хриплое карканье и хруст снега под ногами. В них – уходящая вдаль снежная равнина или дремучий и величественный лес. И некто в черном... Я пытаюсь забыть эти сны, как отчего-то забываю многие события своей жизни, поэтому и веду дневник. Забудь, твержу себе, забудь. Получается плохо.

Вечереет. В темных стеклах умирает красное солнце. Протиснувшись в щель между створками ворот, я прыгаю с плиты на плиту, которыми усеян двор, и зову Марийку, но она не откликается. Плиты заканчиваются возле полуразрушенного каменного фонтана, поросшего выюнком. Черт, а дальше как? Иду по бортику; на противоположной стороне, словно по волшебству, обнаруживаю пару стареньких ходулей и надеваю их. Шатаюсь, как пьяный, бреду к дому, толкаю дверь.

Изящная мебель, картины в холле покрыты тонким слоем пыли. Еще недавно здесь убрались: каждая вещь стоит на своем месте, на стене неохотно качают маятником часы. В просторной кухне обнаруживаю засохшие остатки еды на дубовом столе: над ними кружат зеленые мухи. Пахнет тленом, этот запах вместе с басовитым жужжанием насекомых наводит на мысль о... Шумно сглатываю, добираюсь до застеленной бордовой дорожкой лестницы, ведущей на второй этаж, и, отбросив ходули, как ветер взлетаю наверх.

Я распахиваю двери, одну за другой, и – вижу Марийку, мою сестру, которую так долго пытался догнать.

И я догнал ее.

Марийка лежит на роскошной кровати с балдахинном. На лакированном столике перед кроватью стоит хрустальный кувшин с остатками воды на дне. Вода желтоватая; здесь пахнет болезнью. Сестра глядит в потолок и хрипло дышит, сложив тонкие руки на груди. На ней белая, расшитая фиалками пижама; лицо ее успело состариться, а волосы – поседеть. Но это всё та же Марийка, моя сестра, голубоглазая смешливая девчонка. Я подхожу к ней. Опустившись перед кроватью на колени, беру за руку. Марийка медленно поворачивает голову. Сначала мне кажется, она не узнает меня. Но сестра шепчет:

– Влад...

– Это я, маленькая... наконец-то я нашел... сейчас, погоди, я вылечу тебя...

– Нет! – Марийка даже привстает на кровати, но тут же без сил опускается на подушку. Я отшатываюсь. Ее глаза загораются нездоровым блеском, а бледные пальцы комкают простыню.

– Влад, не лечи меня, не надо! не хочу! ты не имеешь права! Знаешь, я искала тебя, да, искала, но лишь для того, чтобы отомстить, ведь ты разлучил меня с Филиппом, я бросила его из-за тебя... Что так смотришь?.. Да, знаю, ты никогда не мог запомнить имя моего жениха.

Влад, глупый добрый Влад... всё это время я искала тебя только для того, чтобы убить, расквитаться... целитель... слуга тени... мне говорили – у меня паранойя, говорили, что нельзя заикливаться на мести, советовали забыть и перевернуть страницу жизни... но я хотела... я должна была... отомстить...

Она закрывает глаза. Я стою рядом и не могу пошевелиться, сердце болит как тогда, когда меня выгнали из родного города. Я хочу помочь сестре, но не могу – Марийка запретила. Такой у меня принцип: не помогать тем, кто этого не хочет.

Но как же так? Это невозможно понять и принять, ведь я знаю, что могу вылечить ее одним прикосновением!

Я не двигаюсь с места. Она умирает. Когда я пришел, жизнь вспыхнула в ней яркой искрой, а теперь эта искра быстро угасает. Марийка долго ждала меня, почти год. Она в одиночестве бродила по комнатам особняка, ухаживала за ним, стараясь не замечать, как тлен приходит сюда; она касалась перил лестницы и вела по ним ладонью, собирая пыль, она подолгу смотрела на гобелены и репродукции картин известных художников. Изредка ходила в ближний поселок за едой и питьем, лекарствами и одеждой, а жители смотрели на нее, как на сумасшедшую и перешептывались за спиной. С ней почти не разговаривали, да она и сама молчала. Ее волосы тронула седина, она разучилась связно говорить, думая только о том, как отомстит мне, но и эти мысли постепенно покидали ее, уступая место безразличию. Она больна, моя сестренка, прежде всего, больна душою, и тут даже я не смогу помочь.

– Прости, Марийка, – в бессилии опускаюсь на пол. Рядом, глухо стукнувшись о паркет, валится рюкзак, из него выпадает тетрадь с записями.

Вдалеке кричат, за темными стеклами мелькают яркие огни. Я прислушиваюсь.

– ...целитель... где-то здесь... проходил...

Меня ищут. Может, Жоржи догадался и проговорился, хотя вряд ли – он бы промолчал. Впрочем, что я знаю о людях, если даже родная сестра отворачивается от меня?

– Влад...

Она зовет меня. Я подхожу к кровати, склоняюсь над Марийкой, смотрю на изможденное, окутанное сумраком лицо.

– ...когда Филипп умер, он превратился в ястреба... мертвого... красивого... ястреба... помню, я просила, умоляла отдать его... за большие деньги мне прислали... чучело... такой красивый...

– Позволь вылечить тебя.

– Влад... пожалуйста, помоги мне... умереть... так... как умер он...

Снаружи кричат и ломают ворота, совсем скоро шаги зазвучат по лестнице. Меня свяжут, уьют, пытая тайны. Надо убираться, пока не поздно.

Марийка закрывает глаза. Я беру ее на руки: тело очень легкое, почти невесомое. Подхожу к окну и, отворив скрипучие створки, гляжу во двор. Преследователи уже здесь – с факелами и механическими фонариками. Двор полыхает от множества огней, ходули стучат по плитам. Я вижу Алекса, он восседает на двухколесной тележке, похожей на инвалидную коляску.

Нелепое зрелище.

Цирк.

Парад уродцев.

Алекс замечает меня, и травинка выпадает из его улыбчивого рта.

– Вот он! На втором этаже!

Алекс, рубаха-парень... Как быстро ты переменял свое отношение ко мне. А вот Жоржи с ними нет, это радует, значит, в Жоржи я не ошибся. Марийка приподнимает веки, шепчет, заглядывая в глаза:

– Я всё-таки догнала тебя...

Касаюсь ладонью ее щеки.

Нежно-нежно.

И отпускаю сестру.

Белая пижама трепещет на ветру, словно крылья.

А я кричу, кричу изо всех сил:

– Живи! Живи, черт возьми, всегда, вечно живи, Марийка!

В кармане, возле сердца, я нащупываю астру – память о солдате. Его звали Славко. Да, я вспомнил имя! Славко, Кларетта, Беличи – крутится в голове... если вырвусь, если меня не убьют, обязательно надо будет сходить туда, выяснить... Что?! В ярости сжимаю цветок в кулаке, на пол сыплются иссохшие лепестки. Я кричу так, что заглушаю даже толпу, даже Алекса, который верит, что нашел ответ на вопрос, как достать Бога, кружащего над планетой в космическом корабле. Бога, который смеется над глупыми людьми. Я заглушаю всех, а умолкнув, понимаю: вокруг тишина; люди молчат, наблюдая за горлицей, лежащей возле фонтана. Моя сестра Марийка теперь мертвая горлица.

– Живи... – прошу я.

И горлица оживает, поводит головой; толпа в страхе отшатывается. Горлица расправляет крылья, подпрыгивает над землей, становится на ноги. Алекс, выпучив глаза, шарит по земле, нащупывает новую травинку и засовывает в рот, чуть не прикусив язык.

– Живи... – шепчу.

Горлица взлетает. Вверх, выше, выше, еще выше и еще, чтоб поздороваться с ночным небом, чтоб искупаться в свете луны и звезд. Горлица... моя сестра... Марийка.

– Живи! – кричу я, захлебываясь смехом. – Я всё-таки догнал тебя, Марийка, я вовремя догнал тебя, сестренка!

Люди внизу начинают шевелиться, слышны возбужденные голоса.

Мне всё равно.

Живи, Марийка...

Первое любовное прояснение Хронавты (незадолго до игры)

Эй, а давайте я вам расскажу о счастливой любви. Столько рассказов о несчастной любви, о любви, которая превращается в беспощадную месть – вам самим не надоело? Мне – да. Бывает, в курилку войдешь, а там только и слышно: тра-ля-ля, а вот меня Еленка, сучка, бросила, а вот я с Ганной, дрянью, расстался, а Юлиан – тот еще козел, оставил меня одну с ребенком...

А вот, кстати, и Еленка из бухгалтерии пришла, тонкую сигарету из пачки нервными пальцами достала и курит, на Волика своего, бывшего мужа, зверем глядит и цедит сквозь зубы: «Ах ты, урод плешивый». С таким чувством говорит, с каким раньше Волику на шею вешалась. «Ах ты, – говорит и дым в лицо Волику пускает, – подонок... Что-о?! Я – сучка? А кто с этой шалавой, Земой, при мне в постели кувыркался?»

И так муторно, так гадостно на душе становится, что я немедленно выхожу в самый центр курилки и, подбоченясь, спрашиваю:

– Ребята, а хотите, я вам историю счастливой любви расскажу?

– На сколько сигарет история? – интересуется народ.

– Приблизительно на пять-шесть.

– Накуримся всласть... – мечтательно произносит Еленка. – Сердце успокою... – и говорит, поправляя золотистые кудряшки: – Давай, Войцех, рассказывай.

– А взрывы в истории будут? – спрашивает угрюмый Волик и тербит мочку уха. – Люблю, когда всё взрывается к чертовой матери. – На ухе темнеет застарелый шрам: тоже, наверное, взрывал что-нибудь в детстве.

Я качаю головой: взрывов не будет. Это тихая история.

– Не слушай ты этого придурка, Войцех! – брезгливо морщится Еленка. – Рассказывай. Волик хмурится, открывает рот, намереваясь сказать что-то резкое.

И я говорю: у меня был друг...

Филипп одно время работал в каком-то научно-исследовательском институте, а занимались в этом НИИ хронавтикой. Как известно, наука доказала, что путешествовать во времени невозможно. Но в институте Филиппа не опустили руки и пошли по другой дорожке: стали магию изучать и применять, какие-то галлюциногенные препараты использовали, чтобы проткнуть пространственно-временной континуум. Всё это жутко секретно, друзья, и если об этом узнают иностранные разведки, нам всем не поздоровится, но я вам верю как себе, поэтому и рассказываю.

Вызвал Филиппа начальник и говорит:

– Филипп, хочешь в командировку в прошлое до пятницы?

В кабинете у начальника маски африканские по стенам развешаны, курительные палочки ароматный дым источают, вазы расписные, до краев забитые пахучими травами, на полках стоят, горшки глиняные по углам громоздятся, булькая зельями и настоями, которые силой волшебства позволяют человеку пронзить время, в прошлое заглянуть. Красиво, загадочно. Полумрак, опять же, таинственности добавляет.

– Куда? – деловито спрашивает Филипп. Он человек серьезный, ответственный, одевается всегда так, что ни пылинки, ни соринки на его выглаженном костюме не найти. Очки стильные, опять же, по моде, широкие, зеркальные; туфли лакированные, начищенные блестят-сияют. На улице Филиппа встретишь, подумаешь: кинозвезда, не иначе!

– Ненадолго, буквально лет на двадцать в прошлое.

– Цель?

Начальник объясняет: так, мол, и так, охота за какими-то немаловажными сведениями, сбор редких в наши дни магических семян аконита, позволяющих путешествовать в самое недалекое будущее, еще что-то – неважно, в общем. Филипп согласен, да и отчего ж не согласиться? Командировка плевая, особенно для такого специалиста, как Филипп, а деньги лишними не бывают.

– А напарницей у тебя будет Марийка Рост.

Филипп морщится: это уже неприятно. Марийка среди хронавтов слывет безалаберной работницей (что с нее взять? с ее-то свободным графиком!), которую держат в учреждении только потому, что она единственная женщина, не впадающая в кому во время хроновыстрела. Не позволишь ей работать – сразу всяческие лиги по защите прав женщин насыдут, в кло-чья порвут, феминистки проклятые. Им-то невдомек, чем Марийке на самом деле приходится заниматься! Если б узнали, что ее как подопытного кролика для путешествий во времени используют, такой бы вой подняли, что по всей Европе в окнах домов стекла полопались бы.

Знакомство с Марийкой прошло не ахти как. Долго друг к другу приглядывались, обменивались какими-то общими фразами, гуляли вдоль периметра мерцающей желтыми огнями стартовой площадки. Хронопушка стояла тут же, в три человеческих роста, цилиндрическая, грозная, в налипшей копоти. Из дула торчал «снаряд» – хроношар, он же машина времени или хроноядро. Да мало ли названий в учреждении этому чуду магии придумали!

Вокруг машины времени символы непонятные, но жутко загадочные нарисованы; колдуны в черных рясах что-то нашептывают, производя пассы руками и окуривая снаряд всякой дрянью наподобие лаванды-мирта-что-там-еще, только раз в десять хуже. Свечи сальные потрескивают, факелы на влажных каменных стенах чадят, а дым уносится в вентиляционные отверстия под потолком – это уже мать-наука старается.

– Проверь, как техники поработали. А то завтра старт, мало ли что... – говорит Марийка наставительным тоном.

Да-да, вот еще проблема: начальником их маленькой экспедиции назначили ее, взбалмошную дурочку Марийку. Да сколько у нее вылетов? Два-три? Что это по сравнению с Филиппом, который стоял у истоков? У него, если хотите знать, одних учебных «нырков» под сотню и «боевых» еще около двадцати.

Филипп смотрит сверху на суетящихся, будто муравьи, техников, которые чистят пушку, проверяют показания приборов, заливают в бак раствор, процентов на сорок состоящий из опийного мака, – жидкую магическую благодать, топливо для машины времени, и мрачно бурчит:

– Конечно, госпожа Рост, я за всем прослежу.

Она, худая, щедедушная красавица с глазами цвета небесной лазури морщится и подкупающе-дружелюбно говорит:

– Оставь официальный тон, Филипп. Давай на «ты». Я-то знаю, что из меня командир как из быка тряпочка, просто вот понадобилось шишкам нашим, чтобы хоть раз женщина хронополетом руководила...

– Хорошо, Марийка, – отвечает Филипп с плохо скрываемой злостью. – Я проконтролирую работу техников.

Она горько вздыхает.

Сноп искр, пространство кривится, изгибается, коверкается перед глазами – это заряжается пушка. Филипп и Марийка, одетые в одинаковые серые костюмы, сидят в креслах внутри

хроноядра, крепко вцепившись в подлокотники. Они готовы к старту. Воздух напоен запахами дурманящих трав.

Хронопушка стреляет, и шар, разрисованный магическими знаками, всё ускоряясь и ускоряясь, начинает движение сквозь пространство и время.

А потом – почти сразу – тишина.

И красные огни повсюду, тревожный писк приборов, мельтешение цифр на мониторах.

Марийка кричит:

– Ты проверил работу техников? Проследил, сколько они залили опия?!

Филипп не отвечает.

– Ты сделал то, что я приказала?!

Филипп обескураженно молчит, затем пробегается пальцами по клавиатуре – данные неутешительны. Компьютер выдает их строчка за строчкой: топливный отсек разгерметизирован и сейчас заполнен лишь на треть, давление постоянно снижается... Филипп смотрит в иллюминатор, за которым проносятся смутные тени. Он борется с искушением разбить стекло и выпрыгнуть наружу. Но это не поможет. Его тело просто разнесет атомами по временному отрезку размером в неделю, и никто никогда не сможет собрать его, Филиппа, снова.

Марийка плачет.

Филипп молчит.

Разозлившись на начальника, на Марийку, на весь белый свет, он назло не стал проверять, как поработали техники. Кто же знал, что в этот раз они схалтурят по-крупному.

Но автоматика справилась с разгерметизацией. Первая запланированная точка их экспедиции пройдена, однако оставшегося топлива никогда не хватит на возвращение. Машина времени замедляется, и радио, висящее у потолка, за какую-то долю секунды записав отрывок из местной радиопередачи, воспроизводит его:

– «... и в этот прекрасный светлый день, дамы и господа, мы обсудим величайших авторов-фантастов, которым первым пришла в голову идея путешествия во времени. Это Герберт Уэллс и Жюль Верн...» – Радио замолкает. Машина времени снова ускоряется, расходуя драгоценное топливо: хронавты не в силах изменить заданный курс. Дни и ночи за иллюминатором, сменяясь, мелькают всё быстрее.

– Разве Жюль Верн писал про машины времени? – спрашивает Марийка, вытирая слезы ладонью.

Филипп молчит.

Этот хроноснаряд уже стал для них могилой. Всё, что им остается, это всячески бороться со скукой в ожидании последнего часа.

– ... Человек – это огромное скопище ноликов и единичек. Просто бесконечная вселенная этих ноликов и единичек. И, кстати, братья и сестры не всегда по-настоящему родственники. Вот, например, брат унаследовал нолики и единицы от матери, а сестра – от отца. Ну не совсем так, конечно, кое-где эти самые нолики и единички будут пересекаться, но процентов на десять, не больше. Какие же они родственники? Они друг другу чужие люди... – рассказывает Филипп свою безумную теорию.

– А если этот нолико-единичный генотип был похож у их родителей?

Филипп замолкает, растерянно моргая. Улыбается смущенно. У него длинные ресницы, которых он очень стесняется еще со школы. Филипп красив и вдохновенен.

– Ох, – говорит, – а ведь верно, мне даже и в голову не приходило...

Марийка смеется.

– Что смеешься-то? – бурчит он, засовывая в универсальный переработчик магических трав найденную в НЗ-отделении бардачка белладонну. Такие переработчики сохранились еще с поры моделей-прототипов, когда хронавты подобно кочегарам на пароходе швыряли в

«топку» разнообразное «горючее». Сейчас заправка машины производится исключительно на старте, но переработчики не демонтируют – мало ли, на всякий случай. Устройство довольно рыкает, принимая топливо. Ненадолго его хватит: белладонна плохая, дикая, да и не идет она ни в какое сравнение с опийным маком.

– У тебя рожа такая забавная. Будто у ребенка, у которого конфету отняли, – шутит Марийка.

– Что еще за слово «рожа»? – морщится Филипп. – Как-то не по-интеллигентски.

– Да в жопу теперь эту интеллигентность. – Марийка запускает пятерню под челку. – Голова что-то болит...

Филипп вглядывается в приборный щиток, потом смотрит на монитор.

– Кажется, опий заканчивается быстрее, чем я думал.

– И нас перемешает в одно, когда мы погибнем?

– Может, остановить машину? – Филипп, напряженно размышляя, трет виски. Его одолевают сомнения.

– Ничего не выйдет.

– Никто не пробовал раньше.

– Ну что ты, Филипп. Тут ведь всем управляет программа, а ты не компьютер, чтобы рассчитать момент, когда можно безопасно вынырнуть в обычное пространство.

Машина замедляется. Поймав случайную волну этого временного промежутка, оживает радио:

– «...и сборная Италии в полном составе... неполадки... хррр... в двигателе... самолет упал вдалеке от жилых кварталов...»

– Господи, – шепчет Марийка, закрывая ладонями глаза. – Я помню, помню этот день...

Они смотрят в иллюминатор. Сквозь туманную дымку вращающихся образов, каких-то незнакомых людей, проглядывает девочка, вылитая Марийка, и... рослый человек, очень похожий на нее, по-видимому, отец. Он узким кожаным ремнем хлещет девочку по заду, по спине. Куда попадет – туда и бьет. На белой коже остаются красные полосы. Мужчина пьян. В углу, руки за спиной, насупившись, стоит мальчишка чуть постарше Марийки. Ее брат.

– Немного стыдно... – Марийка прикусывает нижнюю губу. – Когда твое прошлое обнажено, когда оно на виду у всех.

Филипп не знает, что надо делать в таких ситуациях, и осторожно берет Марийку за руку. Она отталкивает его.

Филипп произносит сконфуженно:

– Извини.

– Чего «извини-то»? – распаляется Марийка. – Давай, смотри, как твоей коллеге жопу дерут!

Она уходит в угол кабинки к приборному щитку и делает вид, что проверяет показания датчиков, чтобы в который раз убедиться – уровень опия пугающе быстро понижается. Они не смогут вернуться назад, не успеют достичь даже пункта назначения, и всё из-за какой-то мелочи, из-за того, что уроды-техники наплевательски отнеслись к своей работе, из-за того, что топливная система оказалась неисправна, из-за того, что опий – фьють! – испарился в никуда. А Филипп не удосужился проверить, готова ли машина к вылету.

Всё из-за того, что путешествия во времени сейчас поставлены в НИИ на поток, и никто не обращает внимания на две-три пропавшие за год хрономашинны.

– Смотри, за окном дети качаются на качелях. Кажется, я узнаю этот двор. Да-да, я здесь когда-то жила... А вон сосед наш, немец Ханс, курит на лавочке..

Филипп молчит.

– Ты что?

- Не знаю. Немного боюсь... не за себя, за тебя. Не хочу, чтоб ты умирала.
- Да успокойся ты! Всё равно мы попадем в рай!
- А как же ад?

Она гладит его по голове:

– Ну что ты, глупый. На самом деле, ада нет, есть только рай. Но тем, кто попадает туда незаслуженно, становится очень стыдно. Тебе не стыдно попасть в рай вместе со мной, Филипп?

– Стыдно. Но ради тебя я готов.

– Так мало времени, чтоб лучше узнать друг друга. А с другой стороны, если б ты всё внимательно проверил, ничего этого и не было бы, верно?

– Да.

* * *

За иллюминатором – угольно-бурая чернота с редкими вспышками огоньков клубничного цвета. Радио молчит, только иногда шипит, и в треске динамиков проскальзывают какие-то не слова даже, а шепелявые слоги, пыльные обломки чужих слов.

– Ты знаешь... когда я была маленькая, когда папа меня бил... мне казалось, что на меня кто-то смотрит, кто-то невидимый, и сочувствует, хочет помочь, но не может. Может, это ты был? В нашем хроноядре.

– Я...

– Наверняка это был ты. Скажи, Филипп.

– Я люблю тебя.

– Это не то. Филипп, пожалуйста! Ты ведь хотел помочь мне, тебе было жалко меня?

– Да.

– Спасибо.

Каждое прикосновение вызывает огонь в душе, сжигает часть души. И они готовы гореть в этом огне вечно... Филипп и Марийка касаются друг друга, смотрят друг другу в глаза, улыбаются глупо, как школьники.

– Очень тихо, правда, Филипп?

– Прости меня.

– Не надо, не проси прощения, ну их к черту эти извинения... ты подарил мне счастливую любовь.

– Какая же она счастливая?..

– Глупый. Она никогда не закончится.

– «...говорит радио «Лав. ком. гутт. дел. кур»! Сегодня прекрасный летний день и для вас выступает певица Гулерия! Гулерия, прошу вас!...»

Они вполголоса смеются.

– Даже в такой ситуации радио может опозлать момент, – хмыкает он.

– Как и ты, – улыбается она. – У тебя, Филипп, наверное, нолики и единички расположены в том же порядке, как и у этого радиоведущего.

Марийка и Филипп, обнявшись, молчат. В кабине воцаряется удивительная тишина, и ее нарушает лишь робкий звук первого поцелуя...

Это тихая история.

В ней не будет взрывов и кульминаций.

Уровень опия упал почти до нуля. Огни дымно-багровым светом обволакивают маленькую кабинку.

– Филипп, наша машина, погибая, прольется серебряным дождем?

– Или просто растает, как ледяная фигура. Или обратится в пепел. Зависит от того, в какое точно время мы попадем – зимой, в лесу, она выпадет снегом, в городе, посреди оживленной улицы, превратится в смог. Это магическая защита, специально предназначенная для того, чтоб в случае аварии машину не заметили аборигены.

– Филипп, ты всегда такой серьезный? Не спорь со мной, пожалуйста. Мы прольемся на черную землю серебряным дождем.

– Откуда ты знаешь?

Радио шипит и прокручивает записанное сообщение: «... небо облачное, местами ожидаются дожди...»

– Я надеюсь. А ты?

Филипп шепчет:

– Давай всё-таки попробуем остановить машину? Вдруг нам посчастливится вынырнуть в нормальном времени? Представь, какая жизнь нас ожидает, если нам повезет? Жизнь вдвоем. Вместе, всегда.

Филипп тянется к кнопкам на панели управления.

Марийка молчит.

И я говорю: у меня была знакомая девушка, которая работала в одном секретном научно-исследовательском институте «Хронос». Она полюбила своего напарника Филиппа, моего друга, мужчину, похожего на нее как две капли воды, мужчину, душа которого состояла из тех же единичек и ноликов, что и у нее, и они пролились на землю теплым весенним дождем, впитались в рыхлый, исходящий паром чернозем у ног маленькой темноглазой девочки, чумазой и вертявой. Девочка засмеялась, протянув руки к затянутому тучами небу, и стала танцевать, держа в одной руке совок, а в другой – ведерко.

Ее громко звал вышедший на балкон пьяный отец, ее ждал мальчишка, вечно стоявший в углу, но она не слушала их, она собирала в ведерко серебро неожиданного дождя.

За покрытым мыльными разводами окном – серо, промозгло, уныло. Осень в нашем городе всегда такая.

Кто-то из курильщиков смеется:

– Ну надо же, выдумать такое: путешествие на машине времени, заправленной опиумным маком... Войцех, ты сам-то чего курил, когда сочинял это?

Я не отвечаю. Волик с сомнением глядит на меня, чешет рыжие лохмы на затылке, помаргивает и неуверенно бормочет:

– А может... это правда, а, отцы? В классе седьмом или восьмом, короче, очень давно знал я одну Марийку по фамилии Рост. Ее старший брат был когда-то моим другом... Скажи, Войцех, у твоей Марийки есть брат?

Я пожимаю плечами: не знаю, не знаю я, Волик. Да и какая, в сущности, разница?

Еленка докуривает сигарету, вминает бычок в край пепельницы, бывшей когда-то банкой из-под растворимого кофе, и спрашивает:

– Да ты хоть немного разбираешься в технике безопасности, Войцех? Наверняка в этих твоих хрономашинах велась запись в реальном времени и передавалась в НИИ – операторам или кому там еще. Ну, допустим даже, что ничего ты не выдумал. Но в концовку, прости, я никак поверить не могу. Откуда ты знаешь, что они пролились именно дождем?

Волик стоит рядом с ней какой-то потерянный, смотрит только на Еленку и неожиданно говорит:

– Еленка, прости меня, пожалуйста.

– Что?.. – Она, растерявшись, хлопает длинными покрашенными ресницами, и одна ресничка падает ей на щеку.

Самое время загадать желание, думаю я. Самое время. Крепко затягиваюсь и долго не отвечаю на Еленкин вопрос, обращенный ко мне, а потом говорю: а я и не знаю. Я выдумал концовку, выдумал этот дождь, чтобы нечаянная эта любовь была еще чуточку счастливее. Добавил в нее щепотку счастья. Быть может, Филипп и Марийка на самом-то деле развеялись пеплом над пожарищем или еще что.

Волик вдруг обнимает Еленку, а она не отталкивает его. Она тихо плачет. Люди в курилке, смутившись, отводят глаза, украдкой посасывают сигаретки. Всем почему-то немножко стыдно.

Я говорю:

– Ведь много счастья не бывает, правда?

Тишина.

У меня звонит телефон. Я извиняюсь перед грустными курильщиками и выхожу в коридор; спрятавшись за углом, достаю сотовый.

– Алло?

У Филиппа печальный и будто бы немного пьяный голос.

– Войцех... родной... приезжай, а?

– Что случилось?

– Ну...

– Что?

– Да вот... Марийка ушла. Собрала вещи и ушла, ничего не сказала... родной, приезжай. Водки возьми, коньяка какого-нибудь и приезжай. Выпьем. Отпросись с работы, слышишь? Я не знаю, что с собой сделаю, если не приедешь...

– А ну хватит! – обрываю его пьяное нытье. – Разнюнился тут. Ты баба или мужик?

– Войцех, ради бога...

– Хорошо, – говорю, – сейчас буду.

Проходя мимо курилки к лестнице, я вижу сквозь стеклянную дверь, как Волик прижимает к себе Еленку. Они, кажется, счастливы. Пусть и ненадолго.

Это тихая, тихая история. Так легко опошлить ее неловким жестом или словом, произнесенным чуть громче, чем надо.

Быть может, я ее и опошлил.

В таком случае, извините.

Тс-с-с...

Первая спокойная глава Живи, Агата!

В Лайф-сити у детей популярна тарзанка. Это игра без правил и особого смысла – всего лишь способ убить время, накачав кровь адреналином. Сделать тарзанку проще простого: к толстому суку привязывают крепкую веревку с узлами на конце, чтоб было удобнее цепляться. Обхватывая веревку руками либо ногами, но никогда одновременно всеми конечностями – таковы правила, – дети «перелетают» с дерева на дерево. Держаться только одной рукой или ногой считается особым шиком. Взрослые порой гоняют «тарзанщиков», хотя я не слышал о случаях, чтобы кто-нибудь из ребятни сорвался. Взрослым труднее, они хорошо помнят времена, когда можно было ходить по земле. Дети же быстро забыли, что это такое, и привыкли к новой реальности, перестроились; некоторые малыши вообще не знают о прежней, *безопасной* земле – для них она, как раскаленная лава, ждущий неосторожного шага противник, к которому нужно привыкнуть. Взрослые переняли тарзанку именно от детей; в Лайф-сити, городе исполинских деревьев, жители и днюют, и ночуют, и работают в их высоких, раскидистых кронах. Тарзанка используется повсеместно, как самый удобный способ передвижения.

Девочка, которую я подобрал на шоссе по пути в Лайф-сити, устроилась служанкой в баре. Бар был простой – для рабочих, техников и прочего обслуживающего персонала, но уютный. Ночью, когда заведение закрывалось, она выгребала из-под столов пустые бутылки, вытирала лужицы разлитой древесной водки и проветривала помещение. В рабочие дни помогала повару: чистила картофель и лук, иногда выполняла обязанности официантки. Повар – толстый, лет пятидесяти или старше, типичный такой повар, добродушный и всегда немного нетрезвый, а оттого краснолицый, сразу мне понравился. Мы даже пропустили по стаканчику водки, поболтали за жизнь. В голубых глазах Лютича, так звали повара, светилась неумная радость жизни, будто он долгое время провел у черта на куличках, где-нибудь на необитаемом острове посреди океана, и теперь воспринимал окружающий мир свежо и остро, как в юности. Еще у него был домашний питомец – забавная мартышка, которая умела играть на губной гармошке.

– Мы можем многому научиться у моей Люси, – говорил повар и нежно поглядывал на умную обезьянку, сидевшую у него на плече, как попугай у хромого пирата из «Острова сокровищ». Лютич, как и я, любил эту книгу с детства.

– Например?

– Например, лазать по деревьям!

Девочка каждую ночь убегала играть в тарзанку. Она не водилась с другими детьми – летала по осеннему нарядному лесу в гордом одиночестве, озаряемая лишь светляками да желтыми огоньками свечей, горящих на подоконниках. Ловко перепрыгивала с развилки на сук, с веранды на мостки. Ее лицо бледным пятном выделялось в фиолетовом сумраке. Где-то под ней волновалось серое море травы, иногда в этом море плескались «рыбешки» – лесные звери. На луну выли отошавшие, пугливые волки, и бледно-серыми пятнами скользили в траве, скрадывая зайцев, лисы. Я часто наблюдал за девчонкой из окна гостиничного номера – она жила неподалеку, а мне не спалось по ночам: я ждал скорой встречи с Марийкой, моей сестрой.

И я встретился с ней. . . Помню это так отчетливо, что, кажется, будто встреча произошла совсем недавно. Она превратилась в горлицу, но не умерла, а ожила и улетела. Как такое могло произойти? Да, я целитель, умею прикосновением и мыслью лечить самые страшные раны, вытягивать из людей, словно вампир – кровь, самые опасные болезни, но не могу оживить мертвого. И чем больше расстояние, тем сложнее помочь человеку. Почему же так вышло? Морщу лоб. Может, не моя заслуга, что Марийка осталась жива?

Ладно, неважно. Главное, что сотворилось чудо, и она воскресла. Было в этом что-то будоражащее – чувство, подобное тому, какое появляется, когдаходишь в церковь во время служения. Нет, я не верующий, но что-то неуловимое проскальзывает в душе: умиротворение и какая-то неизбежная печаль.

Всё это я испытывал, когда Марийка ожила, а еще невероятным образом ощутил, что скучающий Бог, там, наверху, лукаво ухмыляется в своем космическом корабле. И я подумал: как скоро ему, чужаку и нечеловеку, начнут строить храмы и возносить молитвы? В том, что это может произойти, я не сомневался. Как и в обратном...

Впрочем, ход моей мысли ушел далеко от насущных проблем. Надо думать, что случилось дальше, после того как Марийка умчалась к небу. Пытаюсь вспомнить, но в голове возникает жуткий провал в никуда. Я не помню, не могу вспомнить!

Толпа внизу забурилась, закидала меня проклятьями, хлынула в двери особняка, и... Дальше – темно, страшно, пусто... Вкрадчивый шепот, хруст... шорохи, пронизывающий холод... Меня схватили? Бросили в подвал, в яму? Нет, ничего не вижу. Гулкая пустота. Как в огромном заброшенном здании. Или соборе. Черт подери, почему я всё время скатываюсь к мыслям о церкви? С чего я взял, что человеку-тени начнут строить храмы? Ухмыляться-то он ухмылялся, но не лукаво – коварно и злокозненно. Знание приходит неожиданно и тут же пропадает.

Где я сейчас?

Открываю глаза. Надо мной – стылое небо, заволоченное низкими тучами. Грохочет, ворчит цепной собакой гром. Холодные капли дождя – до звона натянутые нити – с хлопаньем обрываются и падают на лицо. Моргаю и отфыркиваюсь, ошалело мотаю головой. Одним резким движением сажусь, готовый в любой момент пуститься наутек или – в крайнем случае – принять бой.

Я еду в телеге, груженной ароматной соломой. В углу, чуть прикрытый куском зеленого брезента, стоит закрытый сундук, обитый железными полосками. Прямо передо мной сидит та самая девчонка, которую я привез в Лайф-сити. Она улыбается. На ней джинсовый комбинезон, кожаные ботинки, черные вязаные перчатки с прорезями для пальцев, на голове повязана выцветшая бандана. Девочка сильно выросла с тех пор, когда я последний раз посещал город. Как ее зовут? Не могу вспомнить. Как я здесь очутился? Черт возьми, не знаю!

– Э-э... – говорю вместо приветствия.

– Доброе утро, Влад, – кивает, задорно улыбаясь, девушка. Она уже не тот ребенок, которого я знал раньше. В голосе появилась хрипотца, свойственная обычно мальчишкам в переходном возрасте. Я наклоняю голову к плечу и вижу сутулую спину возницы, пожилого мужчины в фетровой шляпе и плотном суконном костюме; на его плечах темные расплывшиеся пятнышки, их оставляют падающие с неба дождевики. Мужчина кричит, натягивая вожжи:

– Сто-ой, ра-адимая!

Лошадь останавливается. Возница, укрепив вожжи на облучке, поворачивается к нам – у него добродушный вид и красное лицо. Словно у дорвавшегося до хмельного и уже изрядно смочившего глотку пьяницы. Повар с мартышкой – я вспомнил его!

– Помочиться родимой надо, – сообщает возница.

– Ага, – говорю, оглядываясь.

Мы едем по грунтовой дороге, затерянной где-то в степи. В обе стороны расстилаются безбрежные, буйно поросшие ковылем поля, и только на горизонте темнеет укрытая синей дымкой полоска леса. Посреди луга стоит ржавый трактор, всеми давно забытый, перекошенный и помятый. Очень грустное зрелище – этот трактор. Дождь, так и не начавшись толком, прекращается; брюхатые сизые тучи уползают к северу, там ожесточенно гремит и сверкает.

Местность становится холмистой. На взгорье, укрытом спутанным разнотравьем, я вижу смутную фигуру. Кажется, это человек. Какого дьявола он делает здесь, в степи, где на кило-

метры вокруг ни души? Человек недвижим, это сразу бросается в глаза на фоне колышущегося ковыля. Он стоит прямо, ровно, и, по-моему, взгляд его устремлен в небо. Он как будто чего-то ждет. И вот – сверху донизу пространство над его головой пронзает молния, ударяя в человека. Глаза ослеплены вспышкой, белой-белой, яркой-яркой; когда я разлепляю веки, на взгорье никого уж нет. Я моргаю, щурюсь, всматриваюсь до рези в глазах в ничем не примечательный холм: неужели померещилось? Наверное, я еще толком не отошел ото сна, и мелькнувшая тень показалась человеком, во сне буквально за секунды очень много чего может произойти. Например, спящий слышит утренний звонок будильника, и его мозг трансформирует это в какое-нибудь удивительное приключение, допустим, про разведчика, который в глубоком тылу врага обеспечивает работу всей агентурной сети. Контрразведка противника, благодаря предательству другого секретного агента, выходит на разведчика, и поздней ночью, когда тот, умывшись и почистив зубы, ложится в постель, к дому подъезжает неприметный фургон с надписью «Телефонная служба». Выскочившие из него особицы стремглав поднимаются по лестничному пролету на четвертый этаж, где живет разведчик. И рука в тонкой замшевой перчатке резко и требовательно давит на кнопку звонка... Все эти события наше подсознание порождает фактически из одного только трезвона будильника.

Успокоив себя такими размышлениями, продолжаю осматриваться.

Солнце то прячется за клочковатыми остатками туч, то выпархивает в чистое синее небо, раскрашивая мокрую траву в оранжевый цвет, отражается в свисающих с кончиков стеблей капельках. Звонко цвиркают кузнечики. Сейчас полдень или чуть позже. Тогда в особняке был вечер, Алекс и его люди поднялись на второй этаж. Я стоял у окна... дальше, что, черт подери, было дальше? Как я здесь оказался? Возница смотрит на меня дружелюбно и без стеснения – прямо в глаза; похоже, он хорошо знает меня. Но я почти не помню его, не помню даже имени!

Мужчина отворачивается. Повозку дергает, и мы вновь неспешно катимся по дороге неведомо куда. Гнедая лошадь уныло стучит копытами, слегка наклонив голову. От животины пахнет, грива у нее грязная, свалявшаяся.

Девушка достает из кармана комбинезона мятую сигаретную пачку, протягивает мне.

– Будешь?

Мотаю головой. Она вынимает сигарету и умело прикуривает от зажигалки. Сигареты самопальные: бумага слишком плотная, да еще с аляповатыми рисунками. Похоже, скручены из страниц модного глянцевого журнала.

– Ты куришь? – Мне приходит в голову здравая мысль – проверить, как я выгляжу. Внимательно оглядываю себя: на мне, оказывается, другая одежда, незнакомая. Плотная, никудышно сшитая рубаха, добела стертые джинсы и ботинки на размер больше, чем надо. Левая рука чешется – на запястье подживающий шрам. Сколько же прошло времени? Надо спросить у девчонки, но как она воспримет мой вопрос? Голова кружится, дух захватывает, и сердце бьется чаще – дурацкая ситуация, в такой я ни разу не оказывался.

– Конечно, я курю, – отвечает она.

– Что?

Она с удивлением смотрит на меня.

– Ты спросил, курю ли я, а я ответила, что курю.

– Балуется, негодница, – ворчат от облучка. – Ремнем бы вытянуть, эх-х... Но, ра-адимая!

– Ага... – бурчу и шарю рукой за спиной. Нашупываю набитый соломой тюфяк, ложусь на него. Тучи постепенно уплывают за горизонт, распогоживается. Солнце, умытое, отдраенное до блеска, как палуба корабля старательным юнгой, плывет по прояснившемуся небосводу на запад, а мы – вслед за ним. Белые облачка пенятся кильватерной струей.

– Когда мы приедем? – спрашиваю у неба.

– О... – начинает девушка и, поперхнувшись дымом, кашляет. Сигарета летит в траву.

– О! – говорит возница. – Весьма скоро, господин Влад! Еще пару часиков погодите. Каких-то жалких пару часиков!

Я прислушиваюсь к своим ощущениям. Жив-здоров. Ничего не болит, голова ясная, хоть и относительно пустая. Шрам... он не мог появиться и зажить слишком быстро; с последнего дня, который я помню, прошло много времени. Может быть, неделя, может, гораздо больше... Погодите-ка, чего это я? В тот день... ужасный день, когда меня гнали из города, я был весь в шрамах и царапинах. Они зажили очень быстро, за день или два; зажили без следа. Я – целитель, все знают поговорку «сапожник без сапог»: пророк не может предугадать свое будущее, ведьма – наворожить удачу, воспользовавшись колдовским умением, а я – могу. Могу исцелить себя. Сам. Не прилагая даже особых усилий – заживает, как на собаке. Я давно перестал удивляться, что в свои тридцать семь выгляжу лет на двадцать пять, не больше. Мои ткани регенерируют с невероятной быстротой, значит, шрам на руке появился недавно, в течение суток.

– Влад... – шепчет девушка.

Поворачиваю голову. Она достала из пачки новую сигарету и курит, выпуская пухлые дымные колечки на дорогу. Когда мы виделись в последний раз, она была напоминающим ребенка подростком. Теперь ей около восемнадцати, может, семнадцать, но точно не меньше. Что же это получается? Прошло два, а то и три года?

– Что?

– Возвращаясь к нашему недавнему разговору... – Она умолкает. Над переносицей собираются морщинки, складываясь буквой «V». – Ты женишься на мне?

Я давлюсь собственной слюной, кашляю. Она хмурится, отводя взгляд. Переспрашиваю, отдышавшись:

– Чего?

– Женишься или нет?

– Но ты... тебе еще рано, наверное! А я...

– Да ладно тебе, рано! Никто уже не смотрит на эти дурацкие законы. В Лайф-сити, между прочим, разрешены браки с пятнадцати. Так и скажи, что не любишь меня!

Сердито надув губки, она отворачивается, смачно сплевывает на дорогу. Я молчу. Мне начинает казаться, что происходящее – фарс, что девчонка и старик дураят меня. Нельзя так просто взять и забыть два года! Они что-то сделали с моей головой, каким-то образом вырезали память и теперь насмеваются исподтишка, пытаются что-то выведать... Тайну чужака, что же еще; тайну, которой я и сам не знаю! Им известно, что я целитель, они считают меня врагом, потому что человек-тень наделил меня необычайным даром. Впрочем, это они так считают, люди; я не знаю, откуда взялись мои способности. И я не уверен, что...

Говорят, в скандинавских странах целителям оказывают почет и уважение, им дают лучшие дома, к ним выстраиваются очереди больных и убогих. Но это всё для местных целителей, приезжих стараются не пускать, гонят. Отношение к целителям в Европе неоднозначное: в Испании, я слышал, целителей без промедления жгут на кострах, словно ведьм по приговору инквизиции, во Франции просто вешают. У нас... не всегда убивают, но обычно изгоняют из города. Вылеченный целителем проклят навеки, его не признают даже родственники. Дикие нравы. Как быстро мы скатились к средневековью! Дует ветер перемен, и интеллигентная оболочка слетает с человека, рассыпается в мельчайшие клочки, которые раскидывает по всей Европе, от Португалии до восточных стран.

Говорят, не так плохо относятся к целителям в России. Их привечают в городах, но заставляют жить на окраине, потому как считают, что целитель связан с нечистой силой. Пойти к нему и вылечить можно, но после этого следует девять дней замаливать грехи. Замаливать надо каждую ночь, сидя на макушке самого высокого дерева в лесу или на крыше многоэтажного дома, крепко обхватив руками телевизионную антенну. Это вовсе не смешно, это страшно.

Представьте себя сидящим на верхушке небоскреба, где бесчинствует холодный ветер, представьте, что единственная ваша опора – эта злосчастная антенна, представьте, как она кренится под порывами ветра, а звезды в вышине, колкие и злые, насмешливо перемигиваются. Многие не выдерживают, сходят с ума, поэтому исцеленных переполняет отнюдь не благодарность к спасителю, скорее – ненависть, хотя они, безусловно, знают, на что идут. В принципе, просидеть девять ночей на крыше сушая ерунда по сравнению со смертью от рака легких или другой безнадежной болезни. То есть это они сначала так думают, что ерунда, а потом оказывается, что вовсе не ерунда. Оттого к целителям обращаются лишь тяжелобольные, остальные – не рискуют. Воистину Россия чудная страна, больше азиатская, чем европейская, сразу видно...

Мысли путаются, голова кружится. Не остается ничего, что можно сказать. Хочется прыгнуть с телеги, но это будет последнее, что я сделаю. Надо расспросить девчонку о том, что произошло, но не хватает смелости. Она не смотрит на меня, злится, лицо ее побледнело, а на щеках, наоборот, выступил румянец; я смотрю на ее чеканный профиль – резким, как у робота, движением она подносит сигарету ко рту и крепко затягивается. Подхваченный ветром летит табачный пепел.

Возница поворачивается и беззлобно ругается:

– Ирка, паршивица, солону не подпали!

Я молчу, жадно впитывая информацию. Имя девчонки – это уже что-то, да, несомненно, ее зовут Ира. И я запомню это, заполню мозг нужными сведениями и выясню, в конце концов, что произошло. Только надо повременить, не дать им понять, что раскусил их.

– Да пошел ты, – огрызается она.

Не слишком-то вежливо! Однако я не вмешиваюсь, наблюдаю. Терпеливо жду, когда девчонка назовет имя возницы. Но Ирка молчит, смотрит на меня внимательно, глаз не отводит.

– Чего уставился? – не выдерживает она.

– А что, нельзя?

– Жениться не хочешь, а уставиться – так без проблем!

– Если просто смотреть на человека и не предлагать ему жениться, то никаких обязательств друг перед другом не появляется.

– Тогда почему у самых разных народов мира считается моветоном долго смотреть друг другу в глаза? – спрашивает она звонко и с видом собственного превосходства сплевывает на дорогу. Плевков сбивает в полете стрекозу, насекомое бьется в бурой пыли, взбивает ее быстрыми крылышками и не может подняться в воздух.

– Что за слово такое, «мовытон»? – дурачась, переспрашивает возница. – А ну – тпр-р-ру! – Он поворачивает к нам красное лицо, поводит большим носом и заявляет, жмурясь, будто от удовольствия: – Помочиться ра-адимой надо.

– Откуда ты знаешь, что лошади мочиться надо? – кипятится Ира.

– Эр-р...

– И почему, мать твою, ей надо мочиться каждые пять минут?! – Ира, распалившись, срывается на крик.

– Ты как со старшим разговариваешь?! – не выдерживаю я. Ира смотрит на меня удивленно. Возница, улыбаясь до ушей, кивает:

– Правильно, господин Влад, так ее. Вконец распоясалась негодница!

– Друг другу в глаза можно смотреть бесконечно долго, – объясняю. Воспоминания не возвращаются, но я начинаю чувствовать всё большую симпатию к этим людям, словно знаю их давным-давно, и с самого младенчества прикипел к ним сердцем. – Это тебе не женитьба, Ирка!

Ее пожилой спутник кивает, и девчонка фыркает:

– За дорогой лучше смотри, Лютич!

Лютич, отмечаю про себя, ага. Вот как мы заговорили, как пташечка запела! Ты только посмотри – Лютич! Нет, с женьбой погодим. Ну, что скажешь, а? Тьфу!

Возница хмурится, машет рукой: мол, да ну вас, – и кричит: «Н-н-но!» Лошадка прядает ушами и продолжает унылый бег.

Девушка смотрит на меня, я – на нее, наши глаза мечут молнии: никто не отводит взгляд, потому что в этой игре тот, кто первый посмотрит в сторону, проиграет. У Ирки красивые зеленые глаза, хотя и не совсем зеленые: по краям радужки – яркие, изумрудные, а ближе к зрачку – с желтизной, с прожилками загадочными. Может, это от солнца так, но кажется, что прожилки – оранжевого цвета. Очень красивые глаза у Ирки. Кожа гладкая, бархатистая, носик вздернут кверху, под ним – пара-тройка коротеньких бесцветных волосков. Выбившиеся из-под платка темные пряди падают на лоб. Ирка – подросток, но она уже прекрасна, из нее вырастет красивейшая женщина. Какое-то новое чувство возникает во мне. Может, любовь? Но это невозможно, это как отец с дочерью! Окстись, старый сукин сын! – говорю себе. – Что за мысли? Может... воспоминания? Вдруг у меня с этой верхивосткой что-то было? Да нет, дикость какая-то. Чувствую, что краснею, и прячу глаза. Ирка смеется, подпрыгивая в телеге, отчего та тревожно скрипит.

– А ну прекрати! – цыкает старик Лютич. – А то провалимся и сгинем.

Ирка успокаивается и, хитро подмигивая, машет рукой с зажатой в ней сигаретой.

– Я победила тебя.

– Поздравляю, – бурчу.

– Тпр-ру, ра-адимая! – Лютич поворачивается к нам и довольно сообщает: – Помочиться мила-ай нада-а.

– Я заметил, – отвечаю хмуро.

– С такой скоростью мы в Лайф-сити и к вечеру не доедем, – возмущается Ирка. – А твоя лошадь, Лютич, умрет от обезвоживания.

Лютич невозмутим, ему спешить некуда. Он никогда не суетится, этот старик, вдруг догадываюсь я. Он всегда спокоен. И в самой необычной ситуации, даже если она грозит опасностью, останется рассудительным. Я вспоминаю... Некоторые считают Лютича туповатым, но это не так. Он просто медлителен, как робкий первый снег, как легчайшие дуновения бриза. Он должен всё взвесить и сто раз обдумать. Он из тех, кто отмеряет не семь, а двести раз, прежде чем отрезать. Лютич повторяет эту поговорку всем подряд и рассказывает, что изначально это был лозунг хирургов, написанный на латыни. Но Лютичу никто не верит. Обычно над ним смеются, но могут и поколотить, пару раз такое случалось. Его единственные друзья – я и Ирка, сами отчасти изгой.

Эти знания приходят ко мне будто солнечный удар, и я без сил опускаюсь на подушку, чувствуя, как на лбу выступает пот. Воспоминания возвращаются одно за другим, как если бы сердце мира впихивало их в меня удар за ударом равными порциями. Теперь я знаю, что мне надо. Мне нужен намек, какой-то толчок, чтобы воспоминания начали возвращаться...

Лежу и смотрю в небо. Его загораживает Иркино лицо: девчонка встревоженно смотрит на меня.

– Владька, что-то случилось? Ты побледнел...

– Всё нормально, – отвечаю скованно. – Так. Нездоровится что-то...

Она смеется:

– Да ладно тебе! Ты же никогда не болеешь!

– А, ну да, – говорю. – Значит, просто грустно.

– Хочешь, лягу рядом, поглажу тебе руку?

Долго смотрю на девушку. Очень хочется прикоснуться к ее щеке. Нет, не может у нас ничего быть, я никогда не пошел бы на такое. Она мне в дочери годится, а если б я был годков на десять старше, то при известном везении – и во внучки. Что-то здесь не так. Отворачиваюсь

и утыкаюсь носом в подушку. Ирка обиженно сопит у меня за спиной; поскрипывает солома – девчонка возвращается в свой угол тележки. Лютич вновь осаживает гнедую клячу:

– Тпр-ру, ра-адимая!

Мой родной город Кашины Холмы не такой уж и маленький, хотя и не большой, конечно. Когда меня выгнали, я, проведя ночь на заброшенной стройке, первым делом взобрался в кабинку подъемного крана и оттуда разглядывал город, раскинувшийся между холмов в пойме высохшей некогда реки. Множество частных одно- и двухэтажных домиков, панельные и кирпичные новостройки, несколько высоток в центре, две кольцевые троллейбусные ветки, завод точного машиностроения со швейной фабрикой, открытый бассейн на крыше спортивного комплекса, теперь пустой и пыльный, и роскошное готическое здание ратуши – всё это Кашины Холмы. На взгорье к северо-востоку – черное обугленное пятно до нескольких сот метров в поперечнике, из него, словно гнилые пеньки зубов, торчат обожженные кирпичные развалины. Когда-то там был крупный химический комбинат по производству пластмассовых изделий; во время первого дня игры погибло много народу, а на комбинате свирепствовал пожар. Хорошо, что пламя не перекинулось на жилые кварталы.

Стоя в поскрипывающем ржавыми сочленениями башенном кране, я прощался с городом. На высоте хозяйничал пронизывающий ветер, он проникал в кабину сквозь выбитые стекла, заставляя ежиться и втягивать шею в плечи. Я не имел никакого представления, куда пойду, но чувствовал себя прекрасно: тело после вчерашних побоев ничуть не болело, голова была необыкновенно ясной, а холод – бодрил. Единственным человеком, по которому я скучал, оставалась Марийка. Но она отеклась от меня. Вернуться? Попробовать объяснить ей?

Нет.

Тогда мне казалось, что она сделала окончательный выбор, прогнав меня. И это после того, как я вылечил ее! Что ж, сказал я себе, пора и тебе, Влад, выбирать.

Эх, юность, дороги твои неисповедимы, но всегда прямы! Я верил, что никогда больше не захочу увидеть сестру.

Прыгая по кускам арматуры, по разбитым кирпичам я выбрался на дорогу. На ходулях долго не пройдешь – я имею в виду по-настоящему большие расстояния, но я надеялся, что хоть кто-то проедет мимо и подберет меня. И это случилось, причем довольно скоро. Часа через три на дороге показался раскрашенный в яркие солнечные цвета микроавтобус «Фольксваген», вроде тех, в каких разъезжали хиппи в шестидесятых годах прошлого века. Я встал у обочины, балансируя на кирпиче, и вытянул вперед кулак с поднятым вверх большим пальцем. Микроавтобус, поднимая клубы сухой летней пыли, остановился. Средняя дверь, дребезжа, откатилась в сторону, в проеме показался молодой волосатый парень в джинсах, голый по пояс. Цепочки из канцелярских скрепок позвякивали на его тощей груди. Из салона воняло потом, табаком и еще чем-то сладковатым. В темноте блеснули красным глаза девчонки, забранные какими-то особенными, светящимися в темноте контактными линзами – то есть я решил, что это линзы, а после не спрашивал. Девчонка – я угадал по силуэту – лежала на груди подушек, набитых пухом, прижав к груди си-ди плеер, и постанывала. Кажется, она была немного не в себе.

– Что с ней? – спросил я, не решаясь лезть в «Фольксваген».

– Торчит, – пожал плечами волосатый. – Брат, ты садишься или как?

Я машинально повторил его движение: пожал плечами и полез в затхлую темноту. Волосатый помог мне. Внутри обнаружился еще один парень, толстый, губастый, в рваных джинсах, сплошь увешанный скрепками. Даже уши были проколоты не чем-нибудь, а канцелярскими кнопками. Толстяк курил скрученную из газетного листа козью ножку, сладковатый запах шел именно от нее.

– Будешь, брат? – спросил он меня.

– Потом, – неуверенно ответил я. Толстяк не настаивал. Волосатый уселся по-турецки напротив и воззрился на меня.

– Откуда ты родом, брат? – поинтересовался он.

– Из Холмов, – ответил я. – Э-э... брат.

– Мы из Миргорода, брат. В день икс ехали в этой тачке, представляешь? Все вместе. С тех пор и катаемся по стране. Даже во Францию разок заезжали, сам знаешь, что теперь от границ осталось – название одно. В общем, жизнь у нас сейчас прекрасная, брат. Вот только топливо сложно достать, дорогое, зараза. Но пока, гм, выкручиваемся... – Он не объяснил – каким образом. Но я-то понял, не дурак. – Тебя как, кстати, зовут, брат?

– Влад.

– Велес. – Он протянул мне руку. – Толстый – Велимир, девчонка – Агата. За баранкой у нас Любомир, ты его не видел еще, брат.

– Дай бог, и не увидишь, – хихикнул Велимир.

Велес ухмыльнулся. Я неуверенно растянул губы в улыбке.

– А куда путь держите?

– В Беличи, брат, – ответил Велес.

Мне было абсолютно без разницы, куда ехать. Всё, что я слышал о Беличах, укладывалось в полдесятка слов – небольшой промышленный городок где-то в северной области. Если бы я знал, во что выльется наше путешествие, я, быть может, выпрыгнул бы из машины на полном ходу. Но я, естественно, не знал.

Я и сейчас не знаю, точнее – не помню. Однако белое, бледное от ужаса лицо Славко, выскочившего за мной из автобуса, весомый аргумент в пользу «жутчайше» событий, некогда случившихся в Беличах и, видимо, творящихся в городке по сей день – солдатик-то побывал там относительно недавно.

Мы приезжаем в Лайф-сити к вечеру. По веревочной лестнице проворно карабкаемся на дерево и куда-то идем по качающимся мосткам. Ирка ставит ногу уверенно, я – с опаской. Возница не спешит лезть за нами. «Дела у него», – поясняет Ирка. Лютич довольно гыкает и понукает лошадку. Воз едет дальше между деревьев, по дороге, заваленной консервными банками, бумажками и смятыми пакетами, которые за день накидывают городские. Специальным совком с длинной ручкой, а когда и багром Лютич подбирает банки и пакеты и кидает в раскрытый мешок: в свободное время Лютич подрабатывает мусорщиком. Сверху через равные промежутки времени кричит работник Госавтоинспекции:

– Транспорт внизу, мусор не бросать! Наказание – административные работы сроком до трех дней. Транспорт внизу, мусор не бросать! При неоднократном нарушении – выселение!

В ответ – сдавленный женский смешок, чье-то замысловатое ругательство. Кажется, кто-то втихаря запустил в Лютича шишкой, не испугавшись угроз инспектора.

– Куда мы идем? – спрашиваю.

– Домой, – отрывисто бросает Ирка. Она обижена и почти не смотрит в мою сторону.

Огни гаснут один за другим: горожане ложатся спать, хотя еще рано, видимо, вставать здесь приходится ни свет ни заря. Я помню этот город, Лайф-сити, город с дурацким названием. Я не помню, как здесь очутился и почему живу с Иркой.

По широкому мосту она идет к развесистому дубу, я шагаю следом, крепко держась за гладкие перила с частыми, чтоб никто не упал по неосторожности, балясинами. Тут и там натываюсь на спущенные веревочные лестницы. Надо мной, словно плоды гигантского дерева, парят подвесные номера местной гостиницы с дощатым полом и сплетенными из гибкой лозы стенами и потолком. Когда-то я жил здесь. Вон в том номере, шестнадцатом, рядом с просторной верандой, под ней расположена стоянка для лошадей, повозок и машин. Смотрю вниз, чтобы убедиться – так и есть, я правильно вспомнил. А там, севернее, большой «плод», при-

крепленный канатами сразу к трем стволам; в нем живет управляющий гостиницей, важная шишка в Лайф-сити. Кажется, он входит в городской совет.

Мы приходим к большому дуплу в стволе огромного дуба. Дупло сквозное, с противоположной стороны к нему прикреплена большая пристройка. Само дупло – прихожая. Пол здесь усеян опилками, сбоку висит жестяной почтовый ящик, покрашенный в оливковый цвет, с надписью «Туристическая, 4». Ирка хлопает по нему: пусто.

– Не присылают нам писем, – грустно произносит она.

Я киваю.

Ирка достает механический фонарик, часто-часто нажимает на ручку, выдавливая тусклый луч. Нашупывает в кармане ключ, втыкает в замочную скважину. Я стою в прихожей за ее спиной, сгорбившись и подавляя желание чихнуть. По потолку ползают древесные личинки, я стараюсь не задеть их макушкой: личинки выглядят склизкими и противными.

Дверь ржаво скрипит, улыбается щербатым ртом, отворяясь. Ирка ныряет внутрь, проворно зажигает лампу на круглом столе, и по комнате бегут, прячась в углы, таинственные тени. Стол, платяной шкаф, две аккуратно застеленные кровати, стулья возле них – вот и вся обстановка. На спинке одного из стульев небрежно висят мужские брюки, судя по всему, мои. Замираю и гляжу на брюки, как баран на новые ворота, я чувствую, знаю – брюки мои. Но я их не помню. Это по-настоящему страшно – не помнить свои брюки.

– Ладно, давай мириться. – Ирка ныряет в маленькую комнатку, загороженную свисающими с потолка бусами. Надо полагать, это кухня и, наверное, Ирка там переодевается. А могла бы ведь и здесь... Стесняется? Это хорошо, значит, у меня с ней ничего не было.

– Давай, – соглашаюсь, на цыпочках подходя к «своей» кровати. Такое чувство, что вот-вот из-под кровати выползет змея, огромный, толстый удав, и проглотит меня в мгновение ока. Я даже наклоняюсь и приподнимаю покрывало, однако никаких признаков удава не нахожу; пол с ковровыми дорожками посередине тщательно вымыт, ни соринки вокруг. Только в самом углу валяется сточенный кусочек мела.

– Мирись, мирись! – дурачится Иринка. – И больше не дерись! Сейчас начнем. Готовься.

– Угу, – бормочу я. Чего это она там хочет начать?

– А если будешь драться?

– То что?

– Что?

– Не знаю, – отвечаю смущенно.

– Ты готов? – доносится с кухни.

– К чему?

– Ты что, до сих пор не переоделся? Давай быстрее, костюм в шкафу!

Костюм? Мы на званый вечер приглашены, что ли?

В левом отделении шкафа – полки, в правом – вешалка, на плечиках висит черный костюм из немнущегося синтетического материала и женские платья. Костюм дешевый, но броский. Кидая неловкие взгляды на кухонную «дверь», торопливо переодеваюсь. Пуговицы на пиджаке никак не желают застегиваться, я нервничаю и внезапно замечаю на дне шкафа среди скатанных в рулоны стеганых одеял толстую тетрадь с разломаченными углами – мой дневник наблюдений. У меня дрожат руки, когда я поднимаю его и наспех пролистываю. В тетрадь вклеены новые страницы, все они исписаны. Совсем близко моя жизнь, все те годы, которые кто-то забрал у меня, – стбит только открыть дневник и прочесть.

– Ты готов?

Поспешно сую тетрадь за пазуху, оборачиваюсь и раскрываю рот от удивления: Ирка облачена в черную мантию и остроконечный шутовской колпак с нарисованной молнией и плюшевым шариком на верхушке. Колпак сделан из картона. Зрелище очень странное. Иркины губы черные, глаза подведены угольным карандашом, из-под колпака выбиваются локоны –

тоже черные. Ирка вся черная, с головы до пят. Такое чувство, будто неопрятный школьник поставил кляксу посреди комнаты.

Она ловко стаскивает половики – под ними на досках нарисована мелом звезда, вписанная в пятиугольник. Рот у меня открывается еще шире.

– Чего стоишь? Помог бы!

Скатываем дорожки на пару – я одну, она – вторую. Скатали, переминаюсь с половиком в руках. И куда его девать?

– Да что с тобой? – Ирка недовольно пыхтит, брови насулены. – Тащи в коридор, пусть проветрятся.

Вышвыриваю половики за дверь, с трудом сдерживаясь, чтобы не убежать отсюда. Возвратившись, вижу, как Ирка расставляет по углам пятиконечной звезды свечи и зажигает их. Лампу она потушила, на стенах пляшут тени; Ирка сама становится тенью. Мне кажется, что я один в комнате, что связан по рукам и ногам. Нет, даже не в комнате, а в пещере – сижу на влажном полу и смотрю, как зыбкие тени незнакомцев размазываются по стенам. Я не могу обернуться, чтобы посмотреть, чьи это тени – таких же пленников, как я, или кого-то, кто живет вне моей пещеры.

Ни с того ни с сего одна из теней наливается объемом, оживает, явив мне бледное лицо.

– Быстрее садись в центр пентаграммы!

– А ты?

– Я рядом.

– Что мы будем делать?

Она удивленно смотрит на меня.

– Как что? Будем вызывать твою сестру. Как обычно.

– Куда вызывать?

– Да что с тобой, Влад? На солнце перегрелся?

– Э-э... вроде того...

Усаживаюсь в центр – малую, перевернутую пентаграмму. Ирка, придерживая полы шутовского наряда, садится напротив меня.

– Учти, я не верю в эту белиберду.

– Ну, конечно. – Она ухмыляется. – Зачем в нее верить?

– Как ты вообще дошла до такой жизни? – Обстановка нервирует. Зачем всё это? Не понимаю. Бред какой-то. – Ты была очень рациональной девочкой.

– И ты меня еще спрашиваешь?

– А кого мне спрашивать?

Запах расплавленного воска лезет в ноздри. Я думаю только о том, что не ровен час, кто-нибудь нагрянет в гости, а мы тут, будто чокнутые, сидим на полу и притворяемся медиумами. Духов вызываем. О Господи! Как я сам дошел до жизни такой?

– Влад, – просит Ирка, – закрой глаза.

Я послушно смыкаю веки.

– Вытяни вперед указательный палец правой руки и коснись им кончика носа.

– Чего?

– Выполняй!

Я, изрядно удивленный, делаю, что она требует. Попадаю точно в нос.

– Теперь шмыгни.

– Шмыгнуть?

– Да.

– Зачем?

– Ты что, забыл, что ли? Так надо!

Хлюпаю носом.

– Громче!

Да уж, с ней не соскучишься. Хлюпаю громче, как и велено.

– Не верю! С чувством шмыгай!

Шмыгаю так, что в нос попадает пылинка, я не выдерживаю и начинаю чихать. Ирка сдавленно хихикает, наверно, прикрыла рот ладошкой – ну, чтоб не так обидно. Открываю глаза – точно, прикрыла – и со словами: «Ну всё, хватит с меня!» – начинаю вставать, но она удерживает меня за рукав.

– Влад, прости, я больше не буду.

– Шутки шутишь?

– Ну... забавно вышло – ты поверил и всё выполнял... Садись, пожалуйста, сейчас всё будет серьезно. Как обычно. – Она снимает с шеи цепочку, на которой покачивается камень густо-красного цвета; грани его вспыхивают, улавливая огоньки свечей, искрятся. Ирка, заморожено уставившись на него, наблюдает за игрой света.

– Глаза закрывать? – ворчу.

– Нет, не надо... – И она начинает бубнить черте что, вгоняя себя в транс.

Я всё-таки закрываю.

* * *

Это не первый наш «сеанс»! – озаряет меня. Их было много, очень много. Очередной кусочек мозаики со щелчком становится в надлежащее место. Во время одного из «сеансов», прошлой зимой, когда ударили морозы и в городе насмерть замерзло несколько человек, мы так же сидели на полу и занимались чем-то вроде медитации. Вначале чувствуешь холод, проникший во все уголки комнаты, затем привыкаешь; что-то греет тебя, некий жар, будто пришедший из преисподней. Ты сидишь, скрестив ноги, вокруг потрескивают свечи, а окно, затянутое полиэтиленовой пленкой, затвердело от намерзшего льда. Морозных узоров на пленке нет, это же не стекло, поэтому чуточку грустно; в детстве ты часто спрашивал: кто рисует на стекле такие замечательные узоры, похожие на еловые лапы? Когда отец не был пьян и у него было хорошее настроение, он принимался объяснять что-то сложное и мудреное, называя это физическим явлением. А тебе не нужны были никакие физические явления и законы, ты хотел сказки...

Ты сидишь и медленно уплываешь в чужой незнакомый мир; только ты и девчонка напротив, одетая во всё черное. Кажется, она светится черным светом, окаймленным белыми протуберанцами, как ни глупо это звучит.

Потом в твой мир вторгается далекий сначала звук – с каждой секундой он становится громче и ближе.

Замерзший полиэтилен рвется; в воздухе, поблескивая острыми краями, разлетаются отколовшиеся льдинки, а там, за окном, валит снег, и крупные снежинки, пританцовывая на ветру, опускаются на пол. Какой-то парень в рванье ходит по комнате, обыскивает ее, ищет еду, деньги; лицо его скрыто капюшоном. Он видит нас, но не боится – по Лайф-сити гуляет слух, что во время сеанса мы становимся нечувствительны к внешнему миру. На нас можно орать, можно бить – мы ничего не почувствуем, ничего не услышим.

Домыслы, как это часто бывает, оказываются неверными.

Я вскакиваю и, ухватив вора под мышки, приподнимаю над полом. Пацан кричит, вырывается, суча ногами, капюшон спадает у него с головы. Он пытается укусить меня – дотягивается и кусает. Я не чувствую боли, потому что всё еще нахожусь в легком трансе. Приглядываюсь к мальчишке: я видел его раньше, знаю его – это сын плотника Радека из южной части города.

Бледная как смерть поднимается Ирка, ее красивая зеленая радужка вся заполнена черным зрачком. Она подходит к мальчишке, и тот замирает.

– Знаешь, недавно я читала приключенческую книжку, старых еще времен, написанную до начала игры. Там воришка забрался к главному герою в дом, но тот поймал его, однако полиции не сдал, а приютил и накормил. Они подружились.

Мальчишка смотрит на нее, как загнипнотизированный. В разбитое окно наметает снег. Сквозь черно-белую муть сияет идущая на убыль луна, празднично подсвечивает снежинки. Неповоротливые тучи озарены ее матовым светом.

– В книжках всё так здорово. – Иркино лицо застывает вырезанной из дерева маской. – А у нас за это отсекают кисть правой руки. Ты ведь мусульманин, Ловиц?

Мальчишка кивает, что-то шепчет, вяло перебирая в воздухе ногами. Я прислушиваюсь.

– Братишка голоден, папа заболел, денег нет. Отпустите... отпустите ради бога вашего, Иисуса Христа...

– Не смей говорить о нашем Боге! – кричит Ирка.

Хлесткая пощечина. Голова пацана дергается, будто у марионетки, управляемой неловким кукольным.

На следующий день в мусульманском районе Лайф-сити мальчишке отсекают кисть левой руки. Вообще-то по закону следовало отсечь правую, но его папаша успел распродать половину имущества и дал судье взятку. Ирка не возражает. Она, встав с западной стороны помоста, где собрались христиане, молится, сложив руки ковшиком и смиренно опустив голову. Я стою рядом, холодный, отстраненный; над головой нависают облепленные белым пухом сосновые лапы, воздух прозрачен, под ногами похрустывает утоптаный снег. Мусульмане сгрудились по восточную сторону плахи, плотник вместе с ними, он с ненавистью, бесильно сжимая кулаки, смотрит на Ирку. Впрочем, на западе нас тоже не слишком-то жалуют; люди толпятся в стороне, бросая на меня настороженные взгляды. Слышен говорок: «Ворожбиты... ублюдки...» – но в открытую никто не выступает... Не знаю, почему, – кажется, нас боятся. Или мы им для чего-то нужны.

Мальчонку ведут к плахе. Ресницы его покрыты инеем, губы синие, он часто шмыгает носом. Воришка не сопротивляется и выглядит немного заторможенным, наверное, ему вкололи лошадиную дозу успокоительного.

Палач в накинутой на голову женской сумке с прорезями для глаз и рта говорит:

– Ты осознаешь свою вину?

По толпе гуляет злой шепоток: палача здесь не любят, но закон есть закон.

– Ловиц! Ловиц!.. – захлебывается слезами мать парнишки, утыкается лицом в грудь мужа. Плотник шатается на ветру – огромный, но осунувшийся, сдавший мужчина. У него желтое, одутловатое лицо, судя по всему, больная печень. Он часто прижимает ко рту кулак и надсадно кашляет, а после обтирает пальцы о штанину.

Мальчишке нахлобучивают на голову безразмерную и бесформенную шляпу, она сползает на глаза. Ему приказывают стать на колени, и он послушно становится.

– Ты осознаешь?..

– Ловиц... – бормочет мать мальчугана.

– Осознаешь?!

– Заткните кто-нибудь палача! – орут из толпы мусульман.

– Пусть замолчит! – поддерживают христиане.

Судья неуклюже переминается с ноги на ногу и, в замешательстве поглядывая на палача, зачитывает приговор. Судья молод и трусават: ему около тридцати, и он атеист.

Лезвие топора сверкает морозным блеском, свистит в воздухе, мальчишка вскрикивает. Его поднимают с колен и быстро уводят в толпу, к родителям. Люди расходятся, возбужденно